Т97

Н. А. ТЭФФИ

ВОСПОМИНАНІЯ

1 9 3 2

ВОЗРОЖДЕНІЕ. LA RENAISSANCE
2, Rue d. Sèze. PARIS. IX

7231

Т97

Я

ий
7

К
Т97

Н. А. ТЭФФИ

ВОСПОМИНАНІЯ

ЦГАОР
Книгохранилище
ИНВ. № 30 3664
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ЦГА СССР Инв. № 07R31
Хранилище печатных изданий ЦГАОР СССР Б-Х. № 3087

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

„ВОЗРОЖДЕНІЕ“ — „LA RENAISSANCE“

2, rue de Sèze, Paris - IX-ème.

Tous droits réservés.

Copyright by N. A. Teffi. 1931.

ОТЪ АВТОРА.

Авторъ считаетъ нужнымъ предупредить, что въ «Воспоминаніяхъ» этихъ не найдетъ читатель ни прославленныхъ героическихъ фигуръ, описываемой эпохи, съ ихъ глубокой значимости фразами, ни разоблаченій той или иной политической линіи, ни какихъ либо «освѣщеній и умозаключеній».

Онъ найдетъ только простой и правдивый разсказъ о невольномъ путешествіи автора черезъ всю Россію вмѣстѣ съ огромной волной такихъ же, какъ онъ обывателей.

И найдетъ онъ почти исключительно простыхъ, неисторическихъ людей, показавшихся забавными или интересными и приключенія, показавшіяся занятными, и если приходится автору говорить о себѣ, то это не потому, что онъ считаетъ свою персону для читателя интересной, а только потому, что самъ участвовалъ въ описываемыхъ приключеніяхъ и самъ переживалъ впечатлѣнія и отъ людей, и отъ событій и если вынуть изъ повѣсти этотъ стержень, эту живую душу, то будетъ повѣсть мертва.

Авторъ

1.

Москва. Осень. Холодъ.

Мое петербургское житье - бытье ликвидировано. «Русское Слово» закрыто. Перспективъ никакихъ.

Впрочемъ, есть одна перспектива. Является она каждый день въ видѣ косоглазаго одессита-антрепренера Гуськина, убѣждающаго меня ѣхать съ нимъ въ Кіевъ и Одессу устраивать мои литературныя выступленія.

Убѣждалъ мрачно.

— Сегодня ѣли булку? Ну такъ завтра уже не будете. Всѣ, кто можетъ, ѣдутъ на Украину. Только никто не можетъ. А я васъ везу, я вамъ плачу шестьдесятъ процентовъ съ валового сбора, въ Лондонской гостиницѣ лучшій номеръ заказанъ по телеграфу, на берегу моря, солнце свѣтитъ, вы читаете разсказъ — другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себѣ сыты и сидите въ кафе. Что вы теряете? Спросите обо мнѣ — меня всѣ знаютъ. Мой псевдонимъ Гуськинъ. Фамилія у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-Богу ѣдемъ! Лучшій номеръ въ Международной гостиницѣ.

— Вы говорили въ Лондонской?

— Ну въ Лондонской. Плоха вамъ Международная?

Ходила, совѣтовалась. Многіе дѣйствительно стремились на Украину.

— Этотъ псевдонимъ Гуськинъ — какой то странный.

— —Чѣмъ странный? — отвѣчали люди опытные. Не страннѣе другихъ. Они всѣ такіе, эти мелкіе антрепренеры.

Сомнѣнія пресѣкъ Аверченко. Его оказывается везъ въ Кіевъ другой какой то псевдонимъ. Тоже на гастроли. Рѣшили выѣхать вмѣстѣ. Аверченкинъ псевдонимъ везъ еще двухъ актрисъ, которыя должны были разыгрывать скэтчи.

— Ну, вотъ видите! — ликовалъ Гуськинъ. Теперь только похлопочите о выѣздѣ, а тамъ все пойдетъ какъ хлѣбъ съ масломъ.

Нужно сказать, что я ненавижу всякія публичныя выступленія. Не могу даже сама себѣ уяснить почему. Идіосинкразія. А тутъ еще псевдонимъ — Гуськинъ съ процентами, которые онъ называетъ «порценты». Но кругомъ говорили: — «Счастливая, вы ѣдете!» — «Счастливая — въ Кіевѣ пирожныя съ кремомъ». И даже просто: «Счастливая... съ кремомъ!»

Все складывалось такъ, что надо было ѣхать. И всѣ кругомъ хлопотали о выѣздѣ, а если не хлопотали, не имѣя на успѣхъ никакихъ надеждъ, то хоть мечтали. А люди съ надеждами неожиданно находили въ себѣ украинскую кровь, нити, связи.

— У моего кума былъ домъ въ Полтавѣ.

— А моя фамилія, собственно говоря, не Нефединъ, а Нехвединъ, отъ Хведько, малороссійскаго корня.

— Люблю цыбулю съ саломъ!

— Попова уже въ Кіевѣ, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки. Всѣ уже тамъ.

Гуськинъ развилъ дѣятельность.

— Завтра въ три часа приведу вамъ самаго

страшнаго комиссара съ самой пограничной станціи. Звѣрь. Только что раздѣлъ всю «Летучую Мышь». Все отобралъ.

— Ну ужъ если они мышей раздѣваютъ, такъ гдѣ ужъ намъ проскочить!

— Вотъ я приведу его знакомиться. Вы съ нимъ полюбезничайте, попросите, чтобы пропустилъ. Вечеромъ поведу его въ театръ.

Принялась хлопотать о выѣздѣ. Сначала въ какомъ то учрежденіи, вѣдающемъ дѣлами театральными. Тамъ очень томная дама, въ прическѣ Клео де Мородъ, густо посыпанной перхотью и украшенной облѣзлымъ мѣднымъ обручемъ, дала мнѣ разрѣшеніе на гастроли.

Потомъ въ какихъ то не то казармахъ, не то баракахъ, въ безконечной очереди, долгіе, долгіе часы. Наконецъ, солдатъ со штыкомъ взялъ мой документъ и понесъ по начальству. И вдругъ дверь распахнулась и вышелъ «самъ». Кто онъ былъ — не знаю. Но былъ онъ, какъ говорилось — «весь въ пулеметахъ».

— Вы такая то?

— Да — призналась. (Все равно теперь ужъ не отречешься).

— Писательница?

Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено — иначе чего же онъ выскочилъ.

— Такъ вотъ потрудитесь написать въ этой тетради ваше имя. Такъ. Проставьте число и годъ.

Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потомъ забыла годъ. Чей то испуганный шопотъ сзади подсказалъ.

— Та-акъ! — мрачно сказалъ «самъ». Сдвинулъ брови. Прочиталъ. И вдругъ грозный ротъ его медленно поѣхалъ вбокъ въ интимной улыбкѣ:

— Это мнѣ... захотѣлось для автографа!

— Очень лестно!

Пропускъ данъ.

Гуськинъ развиваетъ дѣятельность все сильнѣе. Приволокъ комиссара. Комиссаръ страшный. Не человѣкъ, а носъ въ сапогахъ. Есть животныя головоногія. Онъ былъ носоногій. Огромный носъ, къ которому прикрѣплены двѣ ноги. Въ одной ногѣ, очевидно, помѣщалось сердце, въ другой совершалось пищевареніе. На ногахъ сапоги желтые, шнурованные, выше колѣнъ. И видно, что комиссаръ волнуется этими сапогами и гордится. Вотъ она ахиллесова пята. Она въ этихъ сапогахъ, и змѣй сталъ готовить свое жало.

— Мнѣ говорили, что вы любите искусство... начинаю я издалека и... вдругъ сразу наивно и женственно, словоно не совладѣвъ съ порывомъ, — сама себя перебила: — Ахъ, какіе у васъ чудные сапоги!

Носъ покраснѣлъ и слегка разбухаетъ.

— Мм... искусство... я люблю театры, хотя рѣдко приходилось...

— Поразительные сапоги! Въ нихъ прямо что то рыцарское. Мнѣ почему то кажется, что вы вообще необыкновенный человѣкъ!

— Нѣтъ, почему же... слабо защищается комиссаръ. Положимъ я съ дѣтства любилъ красоту и геропзмъ... служеніе народу...

«Геропзмъ и служеніе» слова въ моемъ дѣлѣ опасныя. Изъ-за служенія раздѣли «Летучую Мышь». Надо скорѣе базироваться на красотѣ.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, не отрицайте! Я чувствую въ васъ глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновенію его въ народныя толщи. Да — въ толщи и въ гущи и въ чащи. У васъ замѣчательные са-

поги... Такіе сапоги носилъ Торквато Тассо... и то не навѣрное. Вы геніальны!

Послѣднее слово рѣшило все. Два вечернихъ платья и флаконъ духовъ будутъ пропущены, какъ орудія производства.

Вечеромъ Гуськинъ повелъ комиссара въ театръ. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами — Лоло и мною.

Комиссаръ отмякъ, расчувствовался и велѣлъ мнѣ передать, что «искусство дѣйствительно имѣетъ за собой» и что я могу провезти все, что мнѣ нужно — онъ будетъ «молчать, какъ рыба объ ледъ».

Больше я комиссара не видала.

Послѣдніе московскіе дни прошли безтолково и сумбурно.

Изъ Петербурга пріѣхала Каза-Роза, бывшая пѣвица «Старинаго театра». Въ эти памятные дни въ ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.

Приходила, смотрѣла черными вдохновенными глазами куда-то въ пространство и говорила:

— Въ Криво-Арбатскомъ переулкѣ, на углу въ суровской лавкѣ осталось еще полтора аршина батиста. Вамъ непремѣнно нужно его купить.

— Да мнѣ не нужно.

— Нѣтъ, нужно. Черезъ мѣсяцъ, когда вы вернетесь ужъ нигдѣ ничего не останется:

Въ другой разъ прибѣжала запыхавшаяся.

— Вамъ нужно сейчасъ же сшить бархатное платье!

— ?

— Вы сами знаете, что это вамъ необходимо. На углу въ москательной хозяйка продаетъ кусокъ занавѣски. Только что содрала, совсѣмъ свѣжая, прямо съ гвоздями. Выйдетъ чудесное вечернее

платье. Вамъ необходимо. А такой случай ужъ никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мнѣ сказали, что у меня, напримѣръ, никогда не будетъ болѣть голова, я-бъ и то навѣрное испугалась.

Покорилась Каза-Розѣ, купила роскошный лоскутъ съ семью гвоздями.

Страшные были эти послѣдніе дни.

По черными ночнымъ улицамъ, гдѣ прохожихъ душили и грабили, бѣгали мы слушать оперетку «Сильва», или въ обшарпанныхъ кафе, набитыхъ публикой въ рваныхъ, пахнущихъ мокрой псиной пальто, слушали, какъ молодые поэты читали сами себя и другъ друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда въ модѣ и даже Брюсовъ не постыдился возглавить своей надменной персоной какой то ихъ «эротическій вечеръ»!

Всѣмъ хотѣлось быть «на людяхъ»..

Одинъ, дома, было жутко.

Все время надо было знать, что дѣлается, узнавать другъ о другѣ.

Иногда кто-нибудь исчезалъ, и трудно было дознаться гдѣ онъ: въ Кіевѣ? Или тамъ, откуда не вернется?

Жили какъ въ сказкѣ о Змѣѣ Горынычѣ, которому каждый годъ надо было отдавать двѣнадцать дѣвицъ и двѣнадцать добрыхъ молодцовъ. Казалось бы какъ могли люди сказки этой жить на свѣтѣ, когда знали, что сожретъ Горынычъ лучшихъ дѣтей ихъ. А вотъ тогда, въ Москвѣ, думалось, что навѣрное и Горынычевы вассалы бѣгали по театрикамъ и покупали себѣ на платьишко. Вездѣ можетъ жить человѣкъ и я сама видѣла, какъ смертникъ, котораго матросы тащили на ледъ разстрѣ-

ливать, перепрыгивалъ черезъ лужи, чтобы не промочить ноги и поднималъ воротникъ, закрывая грудь отъ вѣтра. Эти нѣсколько шаговъ своей жизни инстинктивно стремился онъ пройти съ наибольшимъ комфортомъ.

Такъ и мы. Покупали какія-то «послѣднія лоскутья», слушали въ послѣдній разъ послѣднюю оперетку и послѣдніе изысканно-эротическіе стихи, скверные, хорошіе — не все ли равно — только бы не знать, не сознавать, не думать о томъ, что насъ тащутъ на ледъ.

Изъ Петербурга пришла вѣсточка: извѣстную артистку арестовали за чтеніе моихъ разсказовъ. Въ «чека» заставили ее передъ грозными судьями повторить разсказъ. Можете себѣ представить съ какой бодрой веселостью читался этотъ юмористическій монологъ между двумя конвойными со штыками. И вдругъ — о, радостное чудо! — послѣ первыхъ же трепетныхъ фразъ лицо одного изъ судей расплывается въ улыбку.

— Я слышалъ этотъ разсказъ на вечерѣ у товарища Ленина. Онъ совершенно аполитиченъ.

Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтеніе уже «въ ударномъ порядкѣ развлеченія».

Въ общемъ, пожалуй, все таки хорошо было уѣхать хоть на мѣсяцъ. Перемѣнить климатъ.

А Гуськинъ все развивалъ дѣятельность. Больше, вѣроятно, отъ волненія, чѣмъ по необходимости. Бѣгалъ почему-то на квартиру къ Аверченкѣ.

— Понимаете, какой ужасъ — потрясая руками, разсказывалъ онъ. — Прибѣгалъ сегодня въ десять утра къ Аверченкѣ, а онъ спитъ какъ изъ ведра. Вѣдь онъ же на поѣздъ опоздаетъ!

— Да вѣдь мы же только черезъ пять дней ѣдемъ.

— А поѣздъ уходитъ въ девять. Если онъ сегодня такъ спалъ, такъ почему черезъ недѣлю не спать? И вообще всю жизнь? Онъ будетъ спать, а мы будемъ ждать? Новое дѣло!

Бѣгалъ. Волновался. Торопился. Хлопалъ въ воздухѣ, какъ ремень на холостомъ ходу. А кто знаетъ, какъ бы сложилась моя судьба безъ этой его энергіи. Привѣтъ вамъ, Гуськинъ-псевдонимъ, не знаю гдѣ вы...

2.

Намѣченный отъѣздъ, постоянно откладывался.

То кому-нибудь задерживали пропускъ, то оказывалось, что надежда наша и упованіе — комиссаръ Носъ-въ-сапогахъ еще не успѣлъ вернуться на свою станцію.

Мои хлопоты по отъѣзду уже почти закончились. Сундукъ былъ уложенъ. Другой сундукъ, въ которомъ были сложены (послѣднее мое увлеченіе) старинныя русскія шали, поставленъ былъ въ квартирѣ Лоло.

— А вдругъ за это время назначатъ какую-нибудь недѣлю бѣдноты, или, наоборотъ, недѣлю элегантности, и всѣ эти вещи конфискуютъ?

Я попросила, въ случаѣ опасности, заявить, что сундукъ пролетарскаго происхожденія, принадлежитъ бывшей кухаркѣ Федосьѣ. А, чтобы лучше повѣрили и вообще отнеслись съ уваженіемъ — положила сверху портретъ Ленина съ надписью: «Душенькѣ Фенечкѣ въ знакъ пріятнѣйшихъ воспоминаній. Любящій Вова».

Впослѣдствіи оказалось, что и это не помогло.

Проходили эти послѣдніе московскіе дни въ мутномъ сумбурѣ. Выплывали изъ тумана люди, кружились и гасли въ туманѣ и выплывали новые. Такъ, съ берега въ весенніе сумерки если смотришь на ледоходъ, видишь плыветъ — кружится, не то

возъ съ соломой, не то хата, а на другой льдинѣ, будто, волкъ и обугленныя головешки. Покружится, повернется, и унесетъ его теченіемъ навсегда. Такъ и не разберешь, что это, собственно говоря было.

Появлялись какіе-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.

Изъ Петербурга въ Казань проѣхалъ въ свое имѣніе знакомый помѣщикъ. Написалъ изъ Казани, что имѣніе разграблено крестьянами, и что онъ ходитъ по избамъ, выкупая картины и книги. Въ одной избѣ увидѣлъ чудо: мой портретъ, работы художника Шлейфера, повѣшенный въ красномъ углу рядомъ съ Николаемъ Чудотворцемъ. Баба, получившая этотъ портретъ на свою долю, рѣшила почему-то, что я великомученица...

Неожиданно прибило къ нашему берегу Л. Яворскую. Пришла, элегантная, какъ всегда, говорила о томъ, что мы должны сплотиться, и что-то организовать. Но что именно — никто такъ и не понялъ. Ее провожалъ какой-то бой-скаутъ съ голыми колѣнками. Она его называла торжественно «Мосье Соболевъ». Льдина повернулась и они уплыли въ туманѣ...

Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какія-то пьесы въ театрикѣ на окраинѣ и тоже исчезла.

Потомъ вплыла въ нашъ кружокъ очень славная провинціальная актриса. У нея украли бриллианты и въ поискахъ этихъ бриллліантовъ обратилась она за помощью къ комиссару по уголовному сыску. Комиссаръ оказался очень милымъ и любезнымъ человѣкомъ, помогъ ей въ дѣлѣ, и, узнавъ, что ей предстояло провести вечеръ въ кругу писателей, попросилъ взять его съ собой. Онъ никогда не видалъ живого писателя, обожалъ литературу и мечталъ взглянуть на насъ. Актриса, спросивъ

нашего разрѣшенія, привела комиссара. Это былъ самый огромный человѣкъ, котораго я видѣла за свою жизнь. Откуда-то сверху гудѣлъ колоколомъ его голосъ но гудѣлъ слова самыя сентиментальныя: дѣтскіе стихи изъ хрестоматіи и увѣренія, что до встрѣчи съ нами онъ жилъ только умомъ (съ удареніемъ на «у»), а теперь зажилъ сердцемъ.

Цѣлые дни онъ ловилъ бандитовъ. Устроилъ музей преступленій и показывалъ намъ коллекцію необычно сложныхъ инструментовъ для перекусыванія дверныхъ цѣпочекъ, безшумнаго выпиливанія замковъ и перерѣзыванія желѣзныхъ болтовъ. Показывалъ дѣловые профессіонально-воровскіе чемоданчики, съ которыми громилы идутъ на работу. Въ каждомъ чемоданчикѣ былъ непремѣнно потайной фонарикъ, закуска и флаконъ одеколону. Одеколонъ удивилъ меня.

— Странно — какія вдругъ культурныя потребности, какая изысканность, да еще въ такой моментъ. Какъ имъ приходитъ въ голову обтираться одеколономъ, когда каждая минута дорога?

Дѣло объяснилось просто: одеколонъ этотъ замѣнялъ имъ водку, которую тогда нельзя было достать.

Половивши своихъ бандитовъ, комиссаръ приходилъ вечеромъ въ нашъ кружокъ, умилялся, удивлялся, что мы «тѣ самые» и провожалъ меня домой. Жутковато было шагать почью по глухимъ, чернымъ улицамъ, рядомъ съ этимъ верзилой. Кругомъ жуткіе шорохи, крадущіеся шаги, вскрики, иногда выстрѣлы. Но самое страшное все-таки былъ этотъ охраняющій меня великанъ.

Иногда ночью звонилъ телефонъ. Это ангелъ-хранитель, переставшій жить умомъ (съ удареніемъ на «у») спрашивалъ все-ли у насъ благополучно.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 01231

Перепуганные звонкомъ, успокаивались и декламировали:

Летаютъ сны-мучители
Надъ грѣшными людьми,
И Ангелы-Хранители
Бесѣдуютъ съ дѣтьми.

Ангелъ-Хранитель не бросилъ насъ до самаго нашего отъѣзда, проводилъ на вокзалъ и охранилъ нашъ багажъ, который очень интересовалъ вокзальныхъ чекистовъ.

*
**

У всѣхъ насъ, отъѣзжающихъ, было много печали и общей всѣмъ намъ, и у каждаго своей, отдѣльной. Гдѣ-то глубоко за зрачками глазъ, чуть свѣтился знакъ этой печали, какъ кости и черепъ на фуражкѣ гусаровъ-смерти. Но никто не говорилъ объ этой печали.

Помню нѣжный силуэтъ молодой арфистки, которую потомъ, мѣсяца черезъ три, предали и разстрѣляли. Помню свою печаль о молодомъ другѣ Ленѣ Каннегиссерѣ. За нѣсколько дней до убійства Урицкаго онъ, узнавъ, что я пріѣхала въ Петербургъ, позвонилъ мнѣ по телефону и сказалъ, что очень хочетъ видѣть меня, но гдѣ-нибудь на нейтральной почвѣ.

— Почему же не у меня?

— Я тогда и объясню почему.

Условились пообѣдать у общихъ знакомыхъ.

— Я не хочу наводить на вашу квартиру тѣхъ, которые за мной слѣдятъ — объяснилъ Каннегиссеръ, когда мы встрѣтились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. Въ тѣ времена многіе изъ нашей молодежи принима-

ли таинственный видъ и говорили загадочныя фразы.

Я поблагодарила и ни о чемъ не распрашивала.

Онъ былъ очень грустный въ этотъ вечеръ и какой-то притихшій.

Ахъ, какъ часто вспоминаемъ мы *потомъ*, что у друга нашего были въ послѣднюю встрѣчу печальные глаза и блѣдныя губы. И *потомъ* мы всегда знаемъ, что надо было сдѣлать *тогда*, какъ взять друга за руку и отвести отъ черной тѣни. Но есть какой-то тайный законъ, который не позволяетъ намъ нарушить, перебить указанный намъ темпъ. И это отнюдь не эгоизмъ и не равнодушіе, потому что иногда легче было бы остановиться, чѣмъ пройти мимо. Такъ, по плану трагическаго романа «Жизнь аКинегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Какъ во снѣ — вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу...

Вотъ такъ и мы, писатели, по выраженію одного изъ современныхъ французскихъ литераторовъ, «подражатели Бога» въ Его творческой работѣ, мы создаемъ міры и людей и опредѣляемъ ихъ судьбы, порой несправедливыя и жестокія. Почему поступаемъ такъ, а не иначе — не знаемъ. И иначе поступить не можемъ.

Помню разъ на репетиціи одной изъ моихъ пьесъ, подошла ко мнѣ молоденькая актриса и сказала робко:

— Можно у васъ спросить? Вы не разсердитесь?

— Можно. Не разсержусь.

— Зачѣмъ вы сдѣлали такъ, что этого безтолковаго мальчишку въ вашей пьесѣ выгоняютъ со службы? Зачѣмъ вы такая злая? Отчего вы не за-

хотѣли, ну, хоть пріискать для него другое мѣсто? А еще въ одной вашей пьесѣ бѣдный коммивояжеръ остался въ дуракахъ. Вѣдь ему же это непріятно. Зачѣмъ же такъ дѣлать? неужели вы не можете все это какъ-нибудь поправить? Почему?

— Не знаю... Не могу... Это не отъ меня зависитъ...

Но она такъ жалобно просила меня, и губы у нея такъ дрожали, и такая она была трогательная, что я обѣщала написать отдѣльную сказку, въ которой соединю всѣхъ мною обиженныхъ и въ разсказахъ, и въ пьесахъ, и вознагражу всѣхъ.

— Чудесно! — сказала актриса. — Вотъ это будетъ рай!

И она поцѣловала меня.

— Но боюсь одного — остановила я ее. Боюсь, что нашъ рай никого не утѣшитъ, потому что всѣ почувствуютъ, что мы его выдумали и не повѣрятъ намъ...

*
* *

Ну, вотъ — утромъ ѣдемъ на вокзалъ.

Гуськинъ съ вечера бѣгалъ отъ меня къ Аверченкѣ, отъ Аверченкѣ къ его импрессаріо, отъ импрессаріо къ артистамъ, лѣзъ по ошибкѣ въ чужія квартиры, звонилъ не въ тѣ телефоны, и въ семь часовъ утра влетѣлъ ко мнѣ, запаренный, хрипящій, какъ опоенная лошадь. Взглянулъ и безнадежно махнулъ рукой.

— Ну, конечно. Новое дѣло. Опоздали на вокзалъ!

— Быть не можетъ! Который же часъ?

— Семь часовъ, десятый. Поѣздъ въ десять. Все кончено.

Гуськину дали кусокъ сахару и онъ понемногу успокоился, грызя это попугайное угощеніе.

Внизу загудѣлъ, присланный Ангеломъ-Хранителемъ автомобиль.

Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое съ золотыми куполами, тамъ, наверху. Внизу — сѣрое, тяжелое, съ остановившимися въ глубокой тоскѣ глазами. Красноармейцы тонятъ группу арестованныхъ... Высокій старикъ въ бобровой шапкѣ несетъ узелокъ въ бабьемъ кумачевомъ платочкѣ... Старая дама въ солдатской шинели смотритъ на насъ черезъ бинюзовый лорнетъ... Очередь у молочной лавки, въ окнѣ которой выставлены сапоги...

— Прощай, Москва милая. Не надолго. Всего на мѣсяцъ. Черезъ мѣсяцъ вернусь. Черезъ мѣсяцъ. А что потомъ будетъ, объ этомъ думать нельзя.

— Когда идешь по канату — разсказывалъ мнѣ одинъ акробатъ — никогда не слѣдуетъ думать, что можешь упасть. Наоборотъ. Нужно вѣрить, что все удастся и непремѣнно напѣвать.

Веселый мотивъ изъ «Сильвы» со словами потрясающаго идіотизма звенитъ въ ушахъ:

"Любовь злодѣйка,
Любовь индѣйка,
Любовь изъ всѣхъ мужчинъ надѣлала слѣпыхъ..."

— Какая лошадь сочинила это либретто?..

У дверей вокзала ждетъ Гуськинъ и гигантъ-комиссаръ, переставшій жить умомъ (съ ударепіемъ на «у»).

— Москва, милая, прощай. Черезъ мѣсяцъ увидимся.

Съ тѣхъ поръ прошло десять лѣтъ...

3.

Началось наше путешествіе довольно гладко.

Ѣхали въ вагонѣ второго класса, каждый на своемъ мѣстѣ, не подъ скамейкой и не въ сѣткѣ для багажа, а какъ вообще пассажирамъ сидѣть полагается.

Антрепренеръ мой, псевдонимъ Гуськинъ, волновался — почему поѣздъ долго не отходитъ, а когда отошелъ — сталъ увѣрять, что отошелъ преждевременно.

— И это не добрый знакъ! Еще увидите, что будетъ!

Видъ у Гуськина, какъ только онъ влѣзъ въ вагонъ мгновенно и странно измѣнился. Казалось, будто онъ путешествуетъ дней десять и вдобавокъ при самыхъ звѣрскихъ условіяхъ: башмаки у него расшнуровались, воротничекъ отстегнулся и обнаружилъ подъ кадыкомъ круглый зеленый знакъ отъ мѣдной запонки. И что совсѣмъ ужъ странно — щеки покрылись щетиной, будто онъ дня четыре отпускаетъ бороду.

Кромѣ нашей группы, сидѣли въ томъ же отдѣленіи три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсѣмъ шопотомъ на тему, близкую переживаемому моменту: какъ кто словчился перевезти за границу брилліанты и деньги.

— Слыхали? Прокины все свое состояніе перевезли. Накрутили на бабушку.

— А почему же бабушку не осматривали?

— Охъ, и что вы! Она такая непріятная. Ну кто же рѣшится!...

— А Коркины какъ ловко придумали! И все экспромптомъ! Мадамъ Коркина, уже обшаренная, стоитъ въ сторонѣ и вдругъ — «ахъ, ахъ!» — нога у нея подвернулась. Не можетъ шага сдѣлать. А мужъ, еще необшаренный, говоритъ красноармейцу: «передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тотъ передалъ. А палка то у нихъ добленная и набита брилліантами. Ловко?

— У Булкиныхъ чайникъ съ двойнымъ дномъ.

— Фаничка провезла большущій брилліантъ, такъ вы не повѣрите — въ собственномъ посу.

— Ну ей хорошо, когда у нея носъ на пятьдесятъ каратъ. Не всякому такое счастье.

Потомъ разсказывали трагическую исторію, какъ какая то мадамъ Фукъ спрятала очень хитро брилліантъ въ яйцо. Сдѣлала маленькую дырочку въ скорлупѣ сырого яйца, засунула брилліантъ, а потомъ яйцо сварила въ крутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо въ корзинку съ провизіей и спокойно сидитъ, улыбается. Входятъ въ вагонъ красноармейцы. Осматриваютъ багажъ. Вдругъ одинъ солдатъ схватилъ это самое яйцо, облупилъ и тутъ же, на глазахъ у мадамъ Фукъ, слопалъ. Несчастная женщина такъ дальше и не поѣхала. Вылѣзла на станціи, три дня ходила за этимъ паршивымъ красноармейцемъ, какъ за малымъ ребенкомъ, глазъ съ него не спускала.

— Ну и что же?

— Э, гдѣ тамъ! Такъ ни съ чѣмъ и домой вернулась.

Стали вспоминать о разныхъ хитростяхъ, о

томъ, какъ во время войны ловили шпіоновъ.

— До того эти шпіоны нахитрились! Подумайте только: стали у себя на спинѣ зарисовывать планы крѣпостей, а потомъ сверху закрашивать. Ну, военная развѣдка тоже не глупая — живо догадалась. Стали всѣмъ подозрительнымъ субъектамъ спины мыть. Конечно, случались досадныя ошибки. У насъ въ Гроднѣ поймали одного господина. На видъ — прямо подозрительный брюнетъ. А какъ вымыли его, оказался блондинъ и честнѣйшій малый. Развѣдка очень извинялась...

Подъ эту мирную бесѣду на жуткія темы ѣхать было пріятно и удобно, но не проѣхали мы и трехъ часовъ, какъ вдругъ поѣздъ остановился и велѣли всѣмъ высаживаться.

Вылѣзли, выволокли багажъ, простояли на платформѣ часа два и влѣзли въ другой поѣздъ, весь третьеклассный, набитый до отказа. Противъ насъ оказались злющія бѣлоглазыя бабы. Мы имъ не понравились.

- Ѣдутъ, — сказала про насъ рябая съ бородавкой. — Ѣдутъ, а чего ѣдутъ и зачѣмъ ѣдутъ и сами не знаютъ.

—Что съ цѣпи сорвавши, — согласилась съ ней другая въ замызганномъ платкѣ, кончиками котораго она элегантно вытирала свой утиный носъ.

Больше всего раздражала ихъ китайская собачка «пекинуа», крошечный шелковый комочекъ, которую везла на рукахъ старшая изъ нашихъ актрисъ.

— Ишь, собаку везетъ! Сама въ шляпкѣ и собаку везетъ.

- Оставила бы дома. Людямъ сѣсть некуды, а она собачищу везетъ!

— Она же вамъ не мѣшаетъ, — дрожащимъ

голосомъ вступилась актриса за свою "собачищу" — Все равно я бы васъ къ себѣ на колѣни не посадила.

— Небось, мы собакъ съ собой не возимъ — не унимались бабы.

— Ее одну дома оставлять нельзя. Она нѣжная. За ней ухода больше, чѣмъ за ребенкомъ.

— Чаво-о?

— Ой, да что-же это? — вдругъ окончательно взбѣленилась рябая и даже съ мѣста вскочила. Эй! Послушайте-ка что тутъ говорятъ-то. Вонъ энта въ шляпкѣ говоритъ, что наши дѣти хуже собакъ! Да неужто мы это сносить должны?

— Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нѣтъ? — заропгали злобные голоса.

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилось дѣло, если бы дикій визгъ не прервалъ этой интересной бесѣды. Визжалъ кто-то на площадкѣ. Всѣ сорвались съ мѣстъ, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески разсказывала намъ, какъ тамъ поймали вора и собрались его «подъ вагонъ спущать», да тотъ на ходу спрыгнулъ.

— Жуткіе типики! — сказалъ Аверченко. — Старайтесь не обращать ни на что вниманія. Думайте о чемъ-нибудь веселомъ.

Думаю. Вотъ сегодня вечеромъ зажгутся въ театрѣ огни, соберутся люди, разсядутся по мѣстамъ и станутъ слушать:

«Любовь злодѣйка
Любовь индѣйка
Любовь изъ всѣхъ мужчинъ
Надѣлала слѣпыхъ...»

И зачѣмъ я только вспомнила! Опять привязался этотъ идіотскій куплетъ! Какъ болѣзнь!

Кругомъ бабы весело гуторятъ, какъ бы хо-

рошо было вора подъ колеса спустить, и что онъ теперь не иначе какъ съ проломленной головой лежитъ.

— Самосудомъ ихъ всѣхъ надо! Глаза выколоть, языкъ вырвать, уши отрѣзать, а потомъ камень на шею да въ воду!

— У насъ въ деревнѣ подо льдомъ проволакивали на веревкѣ изъ одной пролуби да въ другую...

— Жгутъ ихъ тоже много...

О интересно — что бы они съ нами сдѣлали за собачку, если бы исторія съ воромъ не перебила настроенія.

— "Любовь злодѣйка
Любовь индѣйка..."

— Какой ужасъ! — говорю я Аверченко.

— Тише... — останавливаетъ онъ.

— Я не про нихъ. У меня своя пытка. Не могу отъ «Сильвы» отвязаться. Буду думать о томъ, какъ бы они насъ жарили (можетъ быть, это поможетъ). Воображаю, какъ моя рябая визави суетилась бы! Она хозяйственная. Раздувала бы щепочки... А что бы говорилъ Гуськинъ? Онъ бы кричалъ: « Позвольте, по у насъ контрактъ! Вы мѣшаете ей выполнить договоръ и разоряете меня какъ антрепренера! Пусть она сначала заплатитъ мнѣ неустойку!»

«Индѣйка и злодѣйка» понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть.

Поѣздъ подходилъ къ станціи. Засуетились бабы съ узлами, загромыхали саножищи солдатъ, мѣшки, кули, корзины закрыли свѣтъ Божій. И вдругъ за стекломъ искаженное ужасомъ лицо Гуськина: онъ ѣхалъ послѣдніе часы въ другомъ вагонѣ. Что съ нимъ случилось?

Страшный, бѣлый, задыхается.

— Вылѣзайте скорѣе! Маршрутъ мѣняется. По той дорогѣ проѣхать нельзя. Потомъ объясню...

Нельзя, такъ нельзя. Вылѣзаемъ. Я замѣшкалась и выхожу послѣдняя. Только что спрыгнула на платформу, какъ вдругъ подходитъ ко мнѣ оборванный нищій мальчишка и отчетливо говоритъ:

— «Любовь злодѣйка, любовь индѣйка». Пожалуйте полтинникъ!

— Что-о?

— Полтинникъ! Любовь злодѣйка, любовь индѣйка.

Кончено. Сошла съ ума. Слуховая галлюцинація. Не могли видно мои слабыя силы перенести этой смѣси: оперетку «Сильвы» съ народнымъ гнѣвомъ.

Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко непормально дѣловито разсматриваетъ собственныя перчатки и не откликается на мой зовъ. Сую мальчишкѣ полтинникъ. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь...

— Признавайтесь сейчасъ же! — говорю Аверченкѣ.

Онъ сконфуженно смѣется.

— Пока, говоритъ, вы въ вагонѣ возились, я этого мальчишку научилъ: хочешь спрашиваю, деньги заработать? Такъ вотъ, сейчасъ изъ этого вагона вылѣзетъ пассажирка въ красной шапочкѣ. Ты подойди къ ней и скажи: «Любовь злодѣйка, любовь индѣйка». Она за это всегда всѣмъ по полтиннику даетъ. Мальчишка оказался смышленный.

Гуськинъ, хлопотавшій у багажнаго вагона съ нашими сундуками, подошелъ, обливаясь зелеными потомъ ужаса.

— Новое дѣло! — трагическимъ шопотомъ сказалъ онъ. — Этотъ бандитъ разстрѣлялся!

— Какой бандитъ?

— Да вашъ комиссаръ. Чего вы не понимате? Ну? Разстрѣляли его за грабежи, за взятки. Черезъ ту границу ѣхать нельзя. Тамъ теперь не только оберутъ, а еще и зарѣжутъ. Попробуемъ проѣхать черезъ другую.

Черезъ другую, такъ черезъ другую. Часа черезъ два сѣли въ другой поѣздъ и поѣхали въ другую сторону.

Пріѣхали на пограничную станцію вечеромъ. Было холодно, хотѣлось спать. Что-то насъ ждетъ? Скоро ли выпустятъ отсюда и какъ поѣдемъ дальше?

Гуськинъ съ аверченкинымъ «псевдонимомъ» ушли на вокзалъ для переговоровъ и выясненія положенія, строго наказавъ намъ стоять и ждать. Ауспиціи были тревожны.

Платформа была пустая. Изрѣдка появлялась какая-то темная фигура, не то сторожъ, не то баба въ шинели, смотрѣла на насъ подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконецъ показался Гуськинъ. Не одинъ. Съ нимъ четверо.

Одинъ изъ четырехъ кинулся впередъ и подбѣжалъ къ намъ. Эту фигуру я никогда не забуду: маленькій, худой, черный, кривоносый человѣчекъ, въ студенческой фуражкѣ и въ огромной великолѣпной бобровой шубѣ, которая стлалась по землѣ, какъ мантія на королевскомъ портретѣ въ какомъ-нибудь тронномъ залѣ. Шуба была новая, очевидно, только-что содранная съ чьихъ-то плечъ.

Человѣчекъ подбѣжалъ къ намъ, лѣвой рукой, очевидно привычнымъ жестомъ, подтянулъ штаны, правую вдохновенно и восторженно поднялъ кверху и воскликнулъ.

— Вы Тэффи? Вы Аверченко? Браво, браво и браво. Передъ вами комиссаръ искусствъ это-

го мѣстечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогіе гости, остановитесь у насъ и поможете мнѣ организовать рядъ концертовъ съ вашими выступленіями, рядъ спектаклей, во время которыхъ исполнители — мѣстный пролетаріатъ — подъ вашимъ руководствомъ разыграетъ ваши пьесы.

Актриса съ собачкой, тихо ахнувъ, сѣла на платформу. Я оглянулась кругомъ. Сумерки. Маленькій вокзальчикъ съ палисадничкомъ. Дальше убогія мѣстечковыя домишки, заколоченная лавченка, грязь, голая верба, ворона и этотъ Робеспьеръ.

— Мы бы, конечно, съ удовольствіемъ, — спокойно отвѣчаетъ Аверченко, — но къ сожалѣнію у насъ снятъ кіевскій театръ для нашихъ вечеровъ и мы должны очень спѣшить.

— Ничего подобнаго! — воскликнулъ Робеспьеръ и вдругъ понизилъ голосъ. — Васъ никогда не пропустятъ черезъ границу, если я объ васъ не попрошу спеціально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетаріата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили вашъ багажъ!..

Тутъ неожиданно выскочилъ Гуськинъ и захлопоталъ:

— Господинъ комиссаръ. Ну конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержкѣ огромный капиталъ, но я самъ берусь ихъ уговорить, хотя я сразу понялъ, что они уже рады служить нашему дорогому пролетаріату. Но имѣйте въ виду, господинъ комиссаръ, только одинъ вечеръ. Но какой вечеръ! Такой вечеръ, что вы мнѣ оближете всѣ пальчики. Вотъ какъ! Завтра вечеръ, послѣ завтра утромъ въ путь. Ну вы уже согласны, ну вы уже довольны. Но гдѣ бы намъ переночевать нашихъ гостей?

— Стойте здѣсь. Мы сейчасъ все устроимъ, — воскликнулъ Робеспьеръ и побѣжалъ, заметая слѣды бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, послѣдовали за нимъ.

— Попали! Въ самое гнѣздо! Каждый день разстрѣлы... Три дня тому назадъ — сожгли живьемъ генерала. Багажъ весь отбираютъ. Надо выкручиваться.

— Пожалуй, придется ѣхать назадъ въ Москву.

— Тсс!.. — шелестѣлъ Гуськинъ. — Они васъ пустятъ въ Москву, чтобы вы разсказали, какъ они васъ ограбили? Такъ они васъ не пустятъ! — съ жутким ударенiемъ на «не» сказалъ онъ и замолчалъ.

Вернулся Аверченкинъ антрепренеръ. Шелъ, прижимаясь къ стѣнкѣ и оглядывался, втягивая голову въ плечи.

— Гдѣ же вы были?

— Сдѣлалъ маленькую развѣдку. Бѣда... Некуда сунуться. Мѣстечко биткомъ набито народомъ.

Съ удивленiемъ оглядываюсь. Такъ не вяжутся эти слова съ пустотой этихъ улицъ, съ тишиной и синими сумерками, непрорѣзанными лучемъ фонаря.

— Гдѣ-же всѣ эти люди? И почему они здѣсь сидятъ?

— Почему! По двѣ-три недѣли сидятъ. Не выпускаютъ ихъ отсюда ни туда, ни сюда. Что здѣсь дѣлается! Не могу говорить!.. Тсс!..

По платформѣ широкой птицей летѣлъ на бобрахъ нашъ Робеспьеръ. За нимъ свита.

— Помѣщенiе для васъ найдено. Двѣ комнаты. Сейчасъ оттуда выселяютъ. Сколько ихъ тамъ набито... съ дѣтьми... такой ревъ подняли! Но у

меня ордеръ. Я реквизирую на нужды пролетаріата.

И снова лѣвою рукой подтянулъ штаны, а правую вдохновенно простеръ впередъ и вверхъ, какъ бы обозначая путь къ дальнимъ звѣздамъ.

— Знаете что, — сказала я, — это намъ совсѣмъ не подходитъ. Вы ихъ, пожалуйста, не выселяйте. Мы туда пойти не можемъ.

— Да, — подтвердилъ Аверченко. — Тамъ у нихъ дѣти, понимаете, это не годится.

Гуськинъ вдругъ весело развелъ руками.

— Да, они у насъ такіе хе́-хе! Ничего не подѣлаешь! Да вы ужъ не безпокойтесь, мы гдѣ-нибудь притулимся... они ужъ такіе....

Приглашалъ публику веселымъ жестомъ удивляться, какіе, молъ, мы чудаки, но самъ, конечно, душою былъ съ нами.

Робеспьеръ растерялся. И тутъ неожиданно выдвинулся какой-то субъектъ, до сихъ поръ скромно прятавшійся за спиной свиты.

— Я м-могу пре-предложить по-по-э-э... ку-ку...

— Что?

— Ку-ко́мнаты.

Кто такой? Впрочемъ, не все ли равно.

Повели насъ куда-то за вокзалъ въ домикъ казеннаго типа. Зайка оказался мужемъ дочери бывшаго желѣзнодорожника.

Робеспьеръ торжествовалъ.

— Ну, вотъ ночлегъ я вамъ обезпечилъ. Устраивайтесь, а я вечеркомъ загляну.

Зайка мычалъ, кланялся.

Устроились.

Мнѣ съ актрисами дали отдѣльную компату. Аверченку взялъ къ себѣ зайка, «псевдонимовъ» упрятали въ какую-то кладовку.

Домъ былъ тихій. По комнатамъ бродила пожилая женщина, такая блѣдная, такая измученная, что, казалось, будто, ходитъ она съ закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухнѣ, но въ комнату не показывался: кажется, жена заики.

Напоили насъ чаемъ.

— Можно бы ве-э-э-тчины... — шепнулъ заика. — Пока свѣтло...

— Нѣтъ, уже стемнѣло — прошелестѣла въ отвѣтъ старуха и закрыла глаза.

— Мм-а-ммаша. А если безъ фонаря, а только спички...

— Иди, если не боишься.

Заика поежился и остался. Что все это значитъ? Почему у нихъ ветчину ѣдятъ только днемъ? Спросить неловко. Вообще, спрашивать ни о чемъ нельзя. Самаго простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются отъ отвѣта. А когда одна изъ актрисъ спросила старуху, здѣсь ли ея мужъ, та въ ужасѣ подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцевъ и долго, молча, всматриваалсь въ черное окно.

Мы совсѣмъ притихли и сжались. Выручалъ одинъ Гуськинъ. Онъ громко отдувался и громко говорилъ удивительныя вещи:

— А у васъ, я вижу шелъ дождь. На улицѣ мокро. Когда идетъ дождь, такъ ужъ всегда на улицѣ мокро. Когда въ Одессѣ идетъ, такъ и въ Одессѣ мокро. Такъ и не бываетъ, чтобы въ Одессѣ шелъ дождь, а въ Николаевѣ было мокро. Ха-ха! Ужъ, гдѣ идетъ дождь, такъ тамъ и мокро. А когда нѣтъ, дождя, такъ не дай Богъ какъ сухо. Ну, а кто любитъ дождь я васъ спрашиваю? Никто не любитъ, ей-Богу. Ну, чего я буду врать. Хе!

Гуськинъ былъ геніаленъ. Оживленъ и простъ. И когда распахнулась дверь и влетѣлъ Робес-

пьеръ, сопровождаемый свитой, усиленной до шести человѣкъ, онъ нашелъ уютную компанію, собравшуюся вокругъ чайнаго стола послушать занятнаго разсказчика.

— Великолѣпно, — воскликнулъ Робеспьеръ. Подтянулъ лѣвой рукой штаны и, не снимая шубы, сѣлъ за столъ. Свита размѣстилась тоже.

— Великолѣпно. Начало въ восемь. Баракъ декорированъ еловыми шишками. Вмѣстимость — полтораста человѣкъ. Утромъ раскленваемъ плакаты. А сейчасъ побесѣдуемъ объ искусствѣ. Кто главнѣе — режиссеръ или хоръ?

Мы растерялись, но не всѣ. Молоденькая наша актриса, какъ полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла — кругами, прыжками поворатами. Замелькалъ Мейерхольдъ съ «треугольниками соотношенія силъ», Евреиновъ съ «театромъ для себя», Comédia del Arte, актеро-творчество, «долой рампу», соборное дѣйство и тра-та-ра-ра-та-ра-та.

Робеспьеръ былъ упоенъ.

— Это какъ разъ то, что намъ нужно! Вы останетесь у насъ и прочтете нѣсколько лекцій объ искусствѣ. Это рѣшено.

Бѣдная дѣвочка поблѣднѣла и растерянно смотрѣла на насъ.

— У меня контрактъ... я черезъ мѣсяцъ могу... я вернусь... я клянусь...

Но теперь уже понесся Робеспьеръ У него былъ свой репертуаръ: пьеса на заумномъ языкѣ. Широкое развитіе жеста. Публика сама сочиняетъ пьесы и тутъ же ихъ разыгрываетъ. Актеры изображаютъ публику, для чего нуженъ большій талантъ, чѣмъ для обычной рутинной актерской игры.

Все шло гладко. Нарушала мирную картину

культурнаго уюта только маленькая собачка. Робеспьеръ производилъ на нее явно зловѣщее впечатлѣніе. Крошечная, какъ шерстяная рукавица, она рычала на него съ яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдругъ, закинувъ голову, завыла, какъ простой цѣпной барбосъ. И Робеспьеръ, пестшійся на крыльяхъ искусства въ невѣдомые просторы, вдругъ почему то страшно испугался и осѣкся на полусловѣ.

Актриса унесла собачку.

На минутку всѣ притихли. И тогда, гдѣ то недалеко отъ дома по направленію къ желѣзнодорожной насыпи послышался какой-то словно нечеловѣческій, словно козлиный вопль, столько въ немъ было животнаго ужаса и отчаянія. Затѣмъ, три сухихъ ровныхъ выстрѣла, отчетливыхъ и дѣловитыхъ.

— Вы слышали? — спросила я. — Что это такое можетъ быть?

Но никто не отвѣтилъ мнѣ. Повидимому, никто не слышалъ.

Блѣдная хозяйка сидѣла не шевелясь, закрывъ глаза. Хозяинъ, все время молчавшій, судорожно трясъ челюстью, точно и думалъ зайкаясь. Робеспьеръ съ жаромъ заговорилъ о завтрашнемъ вечерѣ, заговорилъ значительно громче, чѣмъ раньше. Изъ этого я поняла, что онъ что-то слышалъ....

Свита все время молча курила и въ разговоръ не вмѣшивалась Одинъ изъ свиты, курносый парень въ бурой драной гимнастеркѣ, вынулъ золотой массивный портсигаръ съ литымъ вензелемъ. Протянулась чья-то заскорузлая лапа съ обломанными ногтями; на лапѣ тускло блеснулъ чудесный рубинъ-кабошонъ, глубоко потопленный въ мас-

сивную оправу старинаго перстня. Странные наши гости!...

Молоденькая актриса задумчиво обошла вокругъ стола и встала у стѣны. Я почувствовала, что она зоветъ меня глазами, но не встала. Она смотрѣла на спину Робеспьера, нервно дергая губами...

— Оленушка, — сказала я. — Пора намъ спать. Завтра съ утра будемъ репетировать.

Распрощались общимъ поклономъ и пошли къ себѣ. Тихая хозяйка пошла за нами со свѣчкой.

— Свѣтъ погасите, — шепнула она. — Раздѣньтесь ужъ какъ-нибудь впотьмахъ... А штору ради Бога не спускайте.

Мы стали спѣшно устраиваться. Она задула свѣчку.

— Такъ помните про штору. Ради Бога...

Ушла.

Чье-то теплое дыханіе около меня. Это актриса — Оленушка.

— У него на этой чудесной шубѣ на спинѣ дырка, — шепчетъ она... — и что то темное вокругъ... что-то страшное.

— Спите,Оленушка. Всѣ мы устали и нервничаемъ...

Всю ночь собачка безпокоится, рычитъ и скулитъ. И на разсвѣтѣ, Оленушка говоритъ во снѣ жутким громкимъ голосомъ:

— Я знаю, отчего она воетъ. У него шуба прострѣлена и кровь запеклась.

У меня сердце бьется до тошноты. Я не разсматривала этой шубы, но сейчасъ понимаю, что все это, и не видя, знала...

Утромъ проснулись поздно. Холодный сѣрый день. Дождь. За окномъ саран, амбары, подальше насыпь. Пусто. Ни души.

Хозяйка принесла намъ чаю, хлѣба, ветчины. И шопотомъ:

— Зять досталъ ее на разсвѣтѣ. Она спрятана въ сараѣ. Ночью, если пойти съ фонаремъ — донесутъ. А днемъ тоже увидятъ. Придутъ обыскивать. У насъ каждый день обыски.

Сегодня она словоохотливѣе. Но лицо «молчитъ». Лицо каменное, точно боится она разсказать лицомъ больше, чѣмъ хочетъ.

Въ дверь стучитъ Гуськинъ.

— Вы скоро? Здѣшняя... молодежь уже два раза прибѣгала.

Хозяйка уходитъ. Я пріоткрываю дверь, подзываю Гуськина:

— Гуськинъ, скажите, все благополучно? Выпустятъ насъ отсюда?—шопотомъ спрашиваю.

— Улыбайтесь, ради Бога, улыбайтесь, — шепчетъ Гуськинъ, растягивая ротъ въ звѣрской улыбкѣ, какъ «L'homme qui rit».

— Улыбайтесь, когда разговариваете, можетъ, кто, не дай Богъ подсматриваетъ. Обѣщали выпустить и дать охрану. Злѣсь начинается зона сорокъ верстъ. Тамъ грабятъ.

— Кто-же грабитъ?

— Ха! Кто? Они же и грабятъ. Ну, а если будутъ провожатые изъ самаго главнаго пекла, такъ они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уѣхать. Иначе, ей Богу, я буду очень удивленъ, если когда-нибудь увижу свою мамашу.

Мысль была сложная, но явно неутѣшительная.

— Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируютъ. Всѣ репетируютъ и всѣ устали.

— А вы не знаете, гдѣ самъ хозяинъ?

— Точно не знаю. Или онъ растрѣлянъ, или онъ бѣжалъ, или онъ здѣсь подъ поломъ сидитъ. А то чего они такъ боятся? Весь день, всю ночь, двери и окна открыты. Отчего не смѣютъ закрыть? Почему показываютъ, что ничего не прячутъ? Но, чего намъ съ вами объ этомъ думать? И чего объ этомъ разсуждать? Что намъ за это заплатятъ? Дадутъ почетное гражданство? У нихъ тутъ были дѣла, такія дѣла, которыя, пусть у насъ не будутъ. Этотъ зайкаться сталъ отчего? Три недѣли зайкается. Такъ мы не хотимъ зайкаться, мы лучше себѣ уѣдемъ съ сундучками и съ охраной.

Въ столовой двинули стуломъ.

— Скорѣе, репетировать! — громко закричалъ Гуськинъ, отскочивъ отъ двери.

— Вставайте скорѣе! Ей Богу, одиннадцать часовъ, а онѣ спятъ, какъ изъ ведра!

Мы съ Оленушкой подъ предлогомъ усталости, просидѣли весь день у себя.. Аверченко, антрепренеръ и актриса съ собачкой приняли на себя бесѣду съ вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже съ ними гулять.

— Любопытная исторія, — разсказывалъ, вернувшись, Аверченко. — Видите тотъ разбитый сарай? Разсказываютъ, что мѣсяца два тому назадъ здѣсь большевикамъ пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спѣшно удирать. Онъ вкочилъ на паровозъ и велѣлъ желѣзнодорожнику везти себя. А тотъ взялъ, да и пустилъ машину полнымъ ходомъ въ стѣну депо. Большевикъ заживо сварился.

— А тотъ?

— Того не нашли.

— Можетъ быть... это и есть нашъ хозяинъ?..

4.

Безконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.

— Мы забились въ нашу «дамскую» комнату, туда же пришелъ и Аверченко. Точно по уговору, никто не говорилъ о томъ, что въ настоящій моментъ больше всего волновало... Вспоминали о послѣднихъ московскихъ дняхъ, объ оставленной компаніи этихъ послѣднихъ дней. Ни о настоящемъ, ни о будущемъ, ни слова.

Какъ то поживаетъ «высокій (ростомъ) покровитель»? Все ли еще живетъ сердцемъ или-спова зажилъ умомъ, съ ударепіемъ на «у»?...

Я вспомнила, какъ наканунѣ отъѣзда зашла попрощаться къ одной бывшей баронессѣ. Застала я бывшую баронессу за очень петитулованнымъ занятіемъ: она мыла полъ. Длинная, желтая, съ благородно-лошадинымъ лицомъ, сидѣла она на корточкахъ и, прижавъ къ глазамъ бпрюзовый лорнетъ, съ отвращеніемъ разглядывала половицы. Въ другой рукѣ, деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывокъ кружева и брызгала этимъ кружевомъ на полъ.

— А вытирать я буду потомъ, когда мой валансьенъ высохнетъ...

Вспоминали хлѣбъ послѣднихъ московскихъ дней; двухъ сортовъ: — изъ опилокъ, разсыпав-

шійся какъ песокъ, и изъ глины — горькій, зеленоватый, всегда сырой...

Аверченко взглянулъ на часы:

— Ну вотъ, скоро и вечеръ. Ужъ пять часовъ.

— Кажется, кто то стукнулъ въ окно, — насторожилась Оленушка.

Подъ окномъ Гуськинъ.

— Госпожа Тэффи! Господинъ Аверченко! — громко кричитъ онъ. Вы должны, непремѣнно, немножко пройтись. Ей Богу, къ вечеру нужно имѣть свѣжую голову для звука голоса.

— Да вѣдь дождь идетъ!

— Дождь маленькій, непремѣнно нужно. Это я вамъ говорю.

— Онъ можетъ быть хочетъ что-нибудь сказать — шепчу я Аверченкѣ. Выйдите впередъ и узнайте, одинъ ли онъ. Если «Робеспьеръ» съ нимъ, я не выйду. Я не могу.

Больше всего я боялась, что мнѣ придется пожать руку этому «Робеспьеру». Я могла отвѣчать на его вопросы, смотрѣть на него, но дотронуться, чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращеніе было у меня къ этому существу, что я не отвѣчала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимаго, за что придется расплачиваться не только мнѣ самой, но и всей нашей компаніи. Чувствовала, что физическаго контакта съ этой гадиной не вынесу.

Аверченко показался за окномъ и помахалъ меня.

— Не ходите направо — шепнула мнѣ хозяйка въ сѣняхъ, дѣлая видъ, что ищетъ мои калоши.

— Идемъ посреди улицы — шепнулъ Гуськинъ. Мы себѣ гуляемъ для воздуха.

И мы пошли мѣрно и вольготно, поглядывая на небо — да, все больше на небо— гуляемъ да и только.

— Не смотрите на меня, смотрите себѣ на дождикъ — бормоталъ Гуськинъ.

Оглядѣлся, обернулся, успокоился и заговорилъ:

— Я таки кое что узналъ. Здѣсь главное лицо — комиссарша Х.

Онъ назвалъ звучную фамилію, напоминающую собачій лай.

— Х. молодая дѣвица, курсистка, не то телеграфистка — не знаю. Она здѣсь все. Сумасшедшая — какъ говорится, ненормальная собака. Звѣръ, — выговорилъ онъ съ ужасомъ и съ твердымъ знакомъ на концѣ. — Всѣ ее слушаются. Она сама обыскиваетъ, сама судитъ, сама разстрѣливаетъ: сидитъ на крылечкѣ, тутъ судитъ, тутъ и разстрѣливаетъ. А когда почью у насыпи, то это уже не она. И ни въ чемъ не стѣсняется. Я даже не могу при дамѣ разсказать, я лучше разскажу одному господину Аверченко. Онъ писатель, такъ онъ сумѣетъ какъ нибудь въ поэтической формѣ дать понять. Ну, однимъ словомъ скажу, что самый простой красноармеецъ иногда отъ крылечка уходитъ куда-нибудь себѣ въ сторонку. Ну такъ вотъ, эта комиссарша никуда, не отходитъ и никакого стѣсненія не признаетъ. Такъ это же ужасъ!

Онъ оглянулся.

— Повернемъ немножечко въ другую сторону.

— А что насчетъ насъ слышно? — спросила я.

— Обѣщаютъ отпустить. Только комиссарша

еще не высказалась. Недѣлю тому назадъ проѣзжалъ генералъ. Бумаги всѣ въ порядкѣ. Стала обыскивать — нашла керенку — въ лампасы себѣ зашилъ. Такъ она говоритъ: «на него патроновъ жалко тратить... Бейте прикладомъ». Ну — били. Спрашиваетъ: «еще живъ?» «Ну, говорятъ, еще живъ». «Такъ ,облейте керосиномъ и подожгите». Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите па дождикъ... мы себѣ прогуливаемся. Сегодня утромъ одну фабрикантшу обыскивали. Много везла съ собой. Деньги. Мѣха. Брилліанты. Съ ней приказчикъ ѣхалъ. А мужъ на Украйнѣ. Къ мужу ѣхала. Все отобрали. Буквально все. Въ одномъ платьѣ осталась. Какая то баба дала ей свой платокъ. Неизвѣстно еще пропустятъ ее отсюда или... Ой, да куда же мы идемъ! Вертайте скорѣй!

Мы почти подошли къ насыпи.

— Не смотрите же туда! Не смотрите! — хрипѣлъ Гуськинъ. Ой, вертайте скорѣе!.. Мы же ничего не видали... Идите тихонько... Мы же себѣ гуляемъ. У насъ сегодня концертъ, мы же гуляемъ, — убѣждалъ онъ кого то и улыбался побѣлѣвшими губами

Я быстро повернулась и почти ничего не видѣла. Я даже не поняла, чего именно не надо было видѣть. Какая то фигура въ солдатской шинели нагибалась, подбирала камни, и швыряла въ свору собакъ, которыя что то грызли. Но это было довольно далеко, внизу у насыпи. Одна собака отбѣжала, волоча что то по землѣ. Это все было такъ мгновенно... Мнѣ показалось, что волочитъ она... навѣрное.... показалось... волочитъ руку... да, какія-то лохмотья и руку, я видѣла пальцы. Только вѣдь это невозможно. Вѣдь нельзя же отгрызть руку...

Помню холодный липкій потъ на вискахъ

и у рта, и судоргу потрясающей тошноты, отъ которой хотѣлось рычать по звѣриному.

— Идемте, идемте!

Аверченко ведетъ меня подъ руку.

— Вѣдь хозяйка предупреждала, — хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить.

— Мы попросимъ горячаго чая! — кричитъ Гуськинъ — и мигрень живо пройдетъ. Отъ холоднаго мигрень всегда проходитъ. Что?

Когда мы подошли къ дому, онъ шепнулъ:

— Актрисамъ нашимъ ни о чемъ ни полслова. Все равно, если даже очень громко завизжатъ, такъ новый строй наладить не успѣютъ — намъ утромъ надо уѣзжать. Что-о?

Гуськина «что-о?» не означаетъ вопроса и отвѣта не требуетъ. Это просто стиль и риторическое украшеніе рѣчи. Хотя иногда казалось, что въ Гуськинѣ два человѣка: одинъ говоритъ, а другой съ удивленіемъ переспрашиваетъ.

Дома застали мирную картину: лампа, самоваръ. Одна изъ актрисъ поитъ молокомъ свою собачку, другая репетируетъ какой-то монологъ для вечера.

Что же, однако, я буду читать? Какая у насъ будетъ аудиторія? «Робеспьеръ» говорилъ, что все «свѣтлыя личности, сбросившія вѣковыя цѣпи» — каторжники, что-ли? И вдобавокъ «глубокіе цѣнители и знатоки искусства». — Какого искусства? Аверченко рѣшилъ, что «блатной музыки».

Что же читать?

— Надо читать нѣжные стихи, рѣшила Олепушка. Поэзія облагораживаетъ.

— А я все таки лучше прочту сценку въ уча-

стѣ. Не такъ благородно, зато роднѣе, — сказалъ Аверченко.

Олепушка спорила. Она на гастроляхъ въ западномъ краѣ читала мою «Федосью».

— «Ходила Федосья, калѣка перехожая» и т. д. (вещь очень актерами любимая и зачитанная).

— И вотъ представьте себѣ, въ антрактѣ забѣжалъ ко мнѣ за кулисы одинъ старый иновѣрецъ, совсѣмъ простой, и со слезами говорилъ: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще разъ про эту Морковью».

— Вѣдь тамъ же про Христа говорилось, — пламенно убѣждала Олепушка — иновѣрцу навѣрное это было непріятно, а все таки это его растрогало.

— Милая Олешушка, сказала я. Вашего «иновѣрца» здѣсь навѣрное не будетъ. Читайте лучше что нибудь про аэроплань или про жареную баранину....

Въ сѣняхъ раздался восторженный голосъ «Робеспьра».

Я вышла изъ комнаты.

***

Вечеръ. Восемь часовъ.

Пора отправляться на знаменитый концертъ.

Какъ одѣться? Вопросъ серьезный.

Думали, думали — рѣшили надѣть блузки и юбки.

— Если надѣнемъ что-нибудь понарядиѣе — навѣрное, ограбятъ — сказала актриса съ собачкой. - Не надо имъ показывать, что у насъ есть приличныя платья.

— Ладно.

Итти придется пѣшкомъ, черезъ ограды, пе-

ресѣчь полотно желѣзной дороги, потомъ мимо амбаровъ... Дождь. Грязь хлюпаетъ, гдѣ пожиже и чмокаетъ, гдѣ погуще. Впотьмахъ кажется, будто, она кипитъ и шевелится.

Оленушка сразу завязла и пищитъ, что у нея «калоши захлебнулись».

Гуськинъ водитъ надъ дорогой слѣпымъ фонарикомъ, словно кадитъ дождю и ночи.

Какая неуютная дорога въ «Клубъ просвѣщенія и культуры».

— А на что имъ лучше? — говоритъ незнакомый голосъ. — Тамъ все равно никто никогда не бываетъ.

Кто-то хлюпнулъ и чмокнулъ около меня. Кто-то чужой. Надо быть осторожнѣй.

Но все-таки, если мы даже кое-какъ доберемся — какъ же мы вылѣземъ на эстраду съ комьями грязи на ногахъ?

Аверченкинъ импрессаріо совѣтуетъ снять башмаки и чулки ,итти босикомъ, а тамъ уже въ клубѣ попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или, наоборотъ — итти какъ есть, а тамъ, въ клубѣ, потребовать воды, вымыть ноги и итти на эстраду босикомъ. Или еще лучше — выстирать въ клубѣ чулки — а что мокрые то вѣдь это будетъ мало замѣтно.

— А вы умѣете стирать? — мрачно спросилъ чей-то голосъ.

Гуськинъ ворочалъ грязь своими корявыми штиблетами и молча кадилъ фонарикомъ. Сверкнули босыя ноги Оленушки. Я не могла рѣшиться снять башмаки. "Робеспьеръ" проходилъ сегодня. по этой дорожкѣ и, пожалуй, еще гдѣ-нибудь плюнулъ.

— Это ваше?

Кто-то подаетъ мнѣ что-то круглое, черное. Что это за гадость?

— Ваша калоша... и въ ней туфля.

— Гуськинъ — кричу я. — Я не могу итти дальше. Я умру.

Гуськинъ дѣловито приблизился.

— Не можете? Ну, такъ садитесь мнѣ на шею.

Я поняла это приглашеніе, какъ аллегорическое: губите, молъ, все дѣло, а я долженъ васъ вывозить.

— Гуськинъ, я, правда, не могу. Смотрите, я стою, какъ цапля на одной ногѣ... Мой башмакъ весь въ грязи... Какъ же я его надѣну, когда, можетъ быть, Робеспьеръ плюнулъ... Гуськинъ спасите меня!

— Такъ я же говорю — садитесь мнѣ на шею. Я васъ понесу.

Ничего не понимаю.

— Вы такой огромный Гуськинъ, мнѣ не влѣзть.

— Встаньте сначала на заборчикъ... или вотъ тутъ кто-то небольшой, кажется изъ молодежи... Можно сначала на него.

Поѣду на Гуськинѣ, какъ кузнецъ Вакула на чортѣ?

Много разъ приходилось мнѣ въ моей жизни отправляться на концерты. Ѣздила и въ каретахъ, и въ автомобиляхъ, и на извозчикахъ, но на собственномъ импрессаріо — ни разу.

— Спасибо, Гуськинъ. Но ужъ очень вы огромный, у меня голова закружится.

Гуськинъ растерялся.

— Ну... хотите, надѣньте мои башмаки?

Тутъ у меня безъ всякой высоты закружилась голова.

Какъ въ минуты высшаго душевнаго напряженія — вся минувшая жизнь острымъ зигзагомъ пронеслась передъ моимъ внутреннимъ взоромъ: дѣтство, первая любовь... война... третья любовь... литературная слава... вторая революція и... все это увѣнчивается незабываемыми "штиблетами" Гуськина. Въ черную ночь, въ глушь, въ грязь — какой безславный конецъ! Потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя...

— Спасибо, Гуськинъ. Вы высокой души человѣкъ. Я и такъ дойду.

И, конечно, дошла.

Въ закутѣ деревяннаго барака, играющей роль уборной господъ аристовъ, пока намъ оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрѣли въ щелочку на нашу публику.

Баракъ вмѣщалъ, вѣроятно, человѣкъ сто. Съ правой стороны, на подпоркахъ и брусьяхъ висѣло нѣчто, въ родѣ не то галерки, не то просто сѣновала.

Въ первыхъ рядахъ «генералитетъ и аристократія». Всѣ въ кожѣ (я говорю, конечно, не о собственной человѣческой, а объ телячьей, бараньѐй — словомъ, революціонной кожѣ, изъ которой шьются куртки и сапожищи съ крагами). Многіе въ «пулеметахъ» и при оружіи. На нѣкоторыхъ по два револьвера, словно пришли не въ концертъ, а на опасную военную развѣдку, вылазку, на схватку съ врагомъ, превосходящимъ силами.

— Смотрите на эту, вонъ — въ первомъ ряду, посрединѣ.... — шепчетъ Гуськинъ. — Это она.

Коренастая, коротконогая дѣвица, съ соннымъ лицомъ, плоскимъ, сплющеннымъ, будто, прижала его къ стеклу, смотритъ. Клеенчатая

куртка въ ломчатыхъ складкахъ. Клеенчатая шапка.

— Какой звѣрь! — съ ужасомъ и твердымъ знакомъ, шипитъ мнѣ на ухо Гуськинъ.

«Звѣръ»? Не нахожу. Не понимаю. У нея ноги не хватаютъ до полу. Сама широкая. Плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживаетъ вниманія. И нѣтъ глазъ, нѣтъ бровей, нѣтъ рта — все смазано, сплыло. Ничего «инфернальнаго». Скучный комокъ. Женщины съ такой внѣшностью ждутъ очереди въ лечебницахъ для бѣдныхъ, въ конторахъ для найма прислуги. Какіе сонные глаза. Почему они знакомы мнѣ? Видѣла я ихъ, видѣла... давно... въ деревнѣ... баба-судомойка. Да, да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку повару, когда нужно было рѣзать цыплятъ. Никто не просилъ — своей охотой шла, никогда не пропускала. Вотъ эти самые глаза, вотъ они, помню ихъ...

— Ой, не смотрите же такъ долго — шепчетъ Гуськинъ. — Развѣ можно такъ долго!..

Я петерпѣливо мотнула головой и онъ отошелъ. А я смотрѣла.

Она медленно повернула лицо въ мою сторону и, не видя меня черезъ узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядѣть прямо мнѣ въ глаза. Какъ сова, ослѣпленная дневнымъ свѣтомъ, чувствуетъ глазами человѣческій взглядъ и всегда смотритъ, не видя, прямо туда, откуда глядятъ на нее.

И въ этомъ странномъ слiяніи остановились мы обѣ.

Я говорила ей:

— Все знаю. Скучна безобразной скукой была твоя жизнь, «Звѣръ». Никуда не ушагала бы ты на своихъ короткихъ ногахъ. Для трудной дороги

человѣческаго счастья нужны ноги подлиннѣе... Дотянула, дотосковала лѣтъ до тридцати, а тамъ пожалуй, повѣсилась бы на какихъ нибудь старыхъ подтяжкахъ, или отравилась бы ваксой — такова пѣснь твоей жизни. И вотъ какой роскошный пиръ приготовила для тебя судьба! Напилась ты терпкаго теплаго человѣческаго вина, досыта, до-пьяна. Хорошо! Правда? Залила свое сладострастіе больное и черное. И не изъ-за угла тай, по, похотливо и робко, а во все горло, во все свое безуміе. Тѣ, товарищи твои въ кожаныхъ курткахъ съ револьверами — простые убійцы-грабители, чернь преступленія. Ты имъ презрительно бросила подачку — шубы, кольца, деньги. Они, можетъ быть, и слушаются и уважаютъ тебя именно за это безкорыстіе, за "идейность". Но я то знаю, что за всѣ сокровища міра не уступишь ты имъ свою черную, свою «черную» работу. Ее ты оставила себѣ.

Не знаю, какъ могу смотрѣть на тебя и не кричать по-звѣриному, безъ словъ — не отъ страха, а отъ ужаса за тебя, за человѣка — «глину въ рукахъ горшечника», слѣпившаго судьбу твою въ непознаваемый разсудкомъ часъ гнѣва и отвращенія...

*
* *

Народу набилось много. Красноармейцы, какой-то темный сбродъ. Женщинъ было мало и большинство въ солдатскихъ шинеляхъ. Два приземистыхъ комиссара въ кожанныхъ курткахъ, переглядывались и поочередно выходили изъ барака строгимъ революціоннымъ шагомъ и опять возвращались на мѣсто, оправляя свои «пулеметы», словно наскоро отстояли завоеванія революціи и

снова могутъ пріобщиться къ достиженіямъ искусства.

Нашъ «Робеспьеръ» почему-то притихъ и маячилъ гдѣ-то сбоку безъ восторженныхъ жестовъ и безъ свиты.

Пора начинать.

Я вернулась въ уборную господъ артистовъ и узнала, что все уже рѣшено и слажено. Главное — идея самого Гуськина — у насъ будетъ конферансье, который необходимъ для оживленія спектакля. Жалко, что не подумали объ этомъ раньше, но слава Богу, совершенно неожиданно насъ согласился выручить нашъ хозяинъ-запка.

— Ну, и дѣла! — шепчу Аверченкѣ. — Вѣдь онъ же, несчастный, Богъ знаетъ чего наплететъ.

— Неловко отказываться — смѣется Аверченко. — Можетъ быть, даже это выйдетъ лучше всего.

Первый выходъ: актриса съ собачкой и Аверченкинъ импрессаріо изобразятъ сценку.

Выпихнули запку объявить: — "Сценка Аверченко въ исполненіи такихъ-то".

— С... с... с... с... — сказалъ онъ, махнулъ рукой и ушелъ.

Публика рѣшила, что ее призываютъ къ молчанію и ничуть не удивилась.

Актриса съ собачкой защебетала испуганной птицей такія странныя здѣсь слова о какихъ-то «кузпнахъ, левкояхъ, вальсахъ, влюбленномъ профессорѣ и операѣ «Аида».

Я наблюдала за публикой. Комиссары продолжали переглядываться, входить и уходить. Остальные сидѣли, словно ждали, что сейчасъ объявятъ очередную резолюцію и распустятъ по домамъ. Но помню, какая-то широкая харя, въ сол-

датской фуражкѣ, заинтересовалась и даже временами осклаблялась, но сейчасъ же, словно опомнившись, сдвигала брови и звѣрски косила глазами. Въ общемъ, мнѣ кажется, что начальство забыло объявить этой бѣдной публикѣ, что созвана она на вечеръ культурнаго развлеченія, а самой ей разбираться въ обстоятельствахъ не полагалось.

Зайка твердо держался порученной ему роли и, несмотря на наши просьбы не утомляться, передъ каждымъ номеромъ вылѣзалъ на эстраду и пѣлъ околесицу. Меня назвалъ Аверченкой, Аверченку — «артисткой проѣздомъ» изъ остальныхъ у него вышло только «Э.. э... э...»

Гуськинъ чувствовалъ себя настоящимъ антрепренеромъ. Шагалъ, заложивъ руки за спину, что-то бормоталъ себѣ подъ носъ, что-то комбинировалъ. Иногда заходилъ за кулису и шептался съ кѣмъ - то. И вдругъ этотъ «кто-то» выскочилъ и оказался неизвѣстнымъ господиномъ въ голубыхъ атласныхъ шароварахъ, красномъ бархатномъ кафтанѣ и лихой боярской шапкѣ на затылкѣ.

Быстро раздвинувъ насъ локтями, онъ взбѣжалъ на эстраду и запѣлъ очень скернымъ, но громкимъ голосомъ «Спите, орлы боевые».

Зайка только что анонсировавшій: «э.. э... э...» и еще не успѣвшій сойти съ эстрады, такъ и остался на ней съ перекошеннымъ судорогой ртомъ.

— Кто это?

— Что это значитъ?

— Онъ ужасно поетъ! — волновались мы.

Гуськинъ смущенно отворачивался.

— Да... поетъ онъ, дѣйствительно, какъ мать родила.

— Гуськинъ, объясните намъ кто это и почему онъ вдругъ запѣлъ?

— Тссс.....

Гуськинъ оглянулся.

— Тссс... Почему запѣлъ?... Нитки везетъ на Украйну. Тутъ всякій запоетъ!

Пѣвецъ закончилъ такой фальшивой нотой, что нарочно не выдумаешь. И вдругъ публика заревѣла, захлопала. Понравились «Орлы».

Пѣвецъ выскочилъ снова, запаренный и счастливый.

— Ну! Сдѣлалъ себѣ свои нитки?

Гуськинъ заложилъ руки за спину.

— Что-о?

«Что» было формой риторической.

***

Когда программа закончилась и мы, всей «труппой» вышли раскланиваться на аплодисменты, неожиданный пѣвецъ выскочилъ на два шага впередъ, какъ ведетта и любимецъ публики, и расшаркивался, прижимая руку къ сердцу.

Публика хлопала отъ души, долго и громко.

— Браво! Браво!

И вотъ справа, сверху, гдѣ помѣщались не то ложи, не то сѣновалъ, слышу нѣсколько голосовъ негромко, но настойчиво выкликаютъ мое имя.

Подняла голову.

Женскія лица, такія безпредѣльно усталыя, безнадежно грустныя. Мятыя шляпки, темныя платьишки. Онѣ перегнулись сверху и говорятъ:

— Милая вы наша! Любимая! Дай вамъ Богъ выбраться поскорѣе...

— Уѣзжайте, уѣзжайте, милая вы наша!...

— Уѣзжайте скорѣе...

Такого жуткаго привѣтствія ни на одномъ концертѣ не доводилось мнѣ слышать!

И такое напряженное отчаяніе и рѣшимость

и въ этихъ голосахъ, и въ этихъ глазахъ. Должно быть, не малымъ рисковали онѣ, обращаясь ко мнѣ такъ открыто. Но «генералитетъ» уже ушелъ, а мелкая публика галдѣла и хлопала и врядъ ли что слышала.

И я имъ сказала:

— Спасибо, спасибо вамъ. Когда нибудь встрѣтимся?..

Но онѣ уже скрылись. Только одно слово еще услышала я, уже не видя ихъ блѣдныхъ лицъ. Короткое и горькое:

— «Нѣтъ».

5.

Раннее утро. Дождь

На улицѣ передъ домомъ три телѣги. Гуськинъ и Аверченкинъ импрессаріо укладываютъ нашъ багажъ.

— Гуськинъ! Все налажено?

— Все! Пропускъ данъ. Сейчасъ обѣщали прислать охрану.

И шопотомъ:

— Уфъ! Больше всего охраны боюсь!

— Такъ вѣдь безъ охраны ограбятъ.

— А вамъ не все равно, кто васъ будетъ грабить — охрана или кто другой?

Я соглашаюсь, что пожалуй дѣйствительно все равно...

Къ намъ подъѣзжаютъ еще двѣ телѣги. Въ одной семейство съ дѣтьми и собаками. Въ другой — полулежитъ очень блѣдная женщина, закутанная въ байковый платокъ. Съ ней мужчина въ тулупѣ. Женщина видно тяжело больная. Лицо совсѣмъ неподвижное, глаза смотрятъ въ одну точку. Ея спутникъ бросаетъ на нее быстрые безпокойные взгляды и видимо старается, чтобы никто на нее не обратилъ вниманія, закрываетъ ее собою отъ нашихъ глазъ, вертится около телѣги.

— Охъ, охъ, охъ! — говоритъ всезнающій

Гуськинъ. — Это та самая фабрикантша, которую обобрали.

— Отчего же она такая страшная?

— Ей прокололи бокъ штыкомъ. Ну, они дѣлаютъ видъ, что она себѣ здорова и ни на что не жалуется, а сидитъ себѣ и весело ѣдетъ на Украину. Такъ ужъ и мы будемъ имъ вѣрить и пойдемъ себѣ къ своимъ вещамъ, что-о?

Подъѣхали еще телѣги. Въ одной — вчерашній пѣвецъ, въ рваномъ пальтишкѣ. Видъ невинный и три чемодана (съ нитками?).

Это хорошо, что набирается такой большой караванъ. Такъ спокойнѣе.

Наконецъ появилась охрана: четыре молодыхъ человѣка съ ружьями.

— Скорѣе ѣхать! Намъ некогда, — громко скомандовалъ одинъ изъ нихъ и мы двинулись.

У выѣзда изъ селенія подъѣзжаетъ еще нѣсколько телѣгъ. Въ общемъ — составилось уже двѣнадцать-четырнадцать. Ѣхали медленно. Охрана шагала рядомъ.

Унылое путешествіе! Дождь. Грязь. Сидимъ на мокромъ сѣнѣ. Впереди сорокъ верстъ этой самой загадочной зоны.

Проѣхали верстъ пять. Кругомъ пустое поле, справа полуразвалившійся сарай. И вдругъ неожиданное оживленіе пейзажа: идутъ по пустому полю шеренгой въ рядъ шестеро въ солдатскихъ шинеляхъ. Идутъ медленно, будто гуляютъ. Обозъ нашъ остановился, хотя они не сдѣлали ни малѣйшаго знака, выражающаго какое нибудь требованіе.

— Что такое?

Вижу, соскакиваетъ съ телѣги Гуськинъ и дѣловито идетъ въ поле не къ шинелямъ, а къ са-

раю. Шинели медленно поворачиваютъ туда же и вся компанія скрывается изъ глазъ.

— Дипломатическіе переговоры — сказалъ Аверченко, подошедшій къ моей телѣгѣ.

Переговоры длились довольно долго.

Наша охрана почему-то никакого участія въ нихъ не принимала, а напротивъ, утративъ всякій начальственный и боевой видъ, казалось, пряталась за нашими телѣгами. Странно...

Гуськинъ вернулся мрачный, но спокойный.

— Скажите мнѣ, — обратился онъ къ моему возницѣ, — можетъ здѣсь скоро поворотъ будетъ?

— Не-е — отвѣчалъ возница.

Если будетъ поворотъ, то эта военная молодежь успѣетъ пройти на перерѣзъ и встрѣтить насъ еще разъ.

— Не-е — успокоилъ возница. Погода плохая — они вже почувать пойшли.

Хотя въ девятомъ часу утра «ночувать», казалось бы, рановато, но мы съ радостью повѣрили.

Возница показалъ кнутомъ вправо: на горизонтѣ шесть фигуръ шеренгой. Уходятъ.

— Ну, ѣзжаемъ, — сказалъ Гуськинъ. — Можетъ еще кого встрѣтимъ.

Охрана вылѣзла и браво зашагала рядомъ.

Унылое путешествіе.

Ѣхали почти не отдыхая. Для разнообразія мѣнялись мѣстами, ходили другъ къ другу въ гости. Неожиданно одинъ изъ охранниковъ вступилъ съ нами въ разговоръ. Я сухо отвѣтила и сказала сидѣвшей со мной Оленушкѣ по-французски:

— Не надо съ ними разговаривать.

Охранникъ чуть-чуть усмѣхнулся и спросилъ:

— Почему же? Я вѣдь васъ давно знаю. Вы читали на вечерѣ у насъ въ технологическомъ.

— Какъ же вы... сюда попали?

Онъ смѣется.

— А вы думали, что мы большевики? Мы нѣсколько дней все ждали случая вырваться оттуда. Насъ четверо — два студента и два офицера. А сегодня, когда стали говорить объ охранѣ для васъ, никто изъ большевиковъ не захотѣлъ отлучаться. У нихъ каждый день добыча есть. Ну вотъ мы и вызвались, подговорили кое-кого. Мы, молъ, выручимъ. Вотъ и выручили. Одно только ихъ смущало, что у моего товарища золотой зубъ. Хотѣлось выдрать. Ну да въ спѣшкѣ, какъ видно, позабыли.

Ѣдемъ дальше.

На перелѣскѣ ограда —частоколъ. У воротъ два нѣмецкихъ солдата. За воротами баракъ.

— Это что за гутенъ тагъ?

— Карантинъ! Новое дѣло! — мрачно объясняетъ Гуськинъ.

Изъ калитки выходитъ нѣмецъ поважнѣе, въ шинели потеплѣе и говоритъ, что мы должны просидѣть двѣ недѣли въ карантинѣ.

Гуськинъ на дикомъ нѣмецкомъ языкѣ объясняетъ, что мы самые знаменитые писатели всего міра и что мы «такъ здоровы, какъ не дай Богъ, чтобы господинъ начальникъ былъ боленъ». И зачѣмъ мы будемъ занимать въ карантинѣ мѣсто, которое нужно для другихъ?

Но нѣмецъ своей пользы не понялъ и захлопнулъ калитку.

— Гуськинъ! Неужели ѣхать назадъ?

— Этъ! — отвѣчалъ Гуськинъ презрительно. — Зачѣмъ назадъ, когда надо впередъ. Ходъ есть, только надо поискать. Стойте, а я начинаю.

Онъ заложилъ руки за спину и сталъ ходить вдоль ограды. Ходилъ и внимательно смотрѣлъ ча-

совымъ прямо въ лицо. Разъ прошелъ, два, три.

— Чортъ знаетъ что! — удивлялся Аверченко.

Весь нашъ длинный поѣздъ стоялъ и довѣрчиво и покорно ждалъ.

Четыре раза прошелъ Гуськинъ мимо часовыхъ, наконецъ, выбралъ одного, пріостановился и спросилъ:

— Ну?

Часовой, конечно, молчалъ. Но вдругъ глаза его поѣхали вбокъ. Одинъ разъ, другой, третій... Я посмотрѣла по другую сторону дороги: за кустами стоялъ еще одинъ нѣмецъ и невинно разглядывалъ вѣточку бузины. Гуськинъ медленно, не глядя на нѣмца, сталъ кругами какъ коршунъ приближаться къ нему. Потомъ оба скрылись въ лѣсу.

Пропадалъ Гуськинъ не долго. Вышелъ одинъ и громко сказалъ:

— Дѣлать нечего. Поворачиваемъ назадъ.

И мы покорно повернули. Покорно, но бодро — потому что вѣрили въ гуськинскій геній.

Проѣхали по старой дорогѣ съ полверсты и свернули въ лѣсъ. Тамъ Гуськинъ спрыгнулъ съ телѣги и зашагалъ, оглядываясь по сторонамъ.

Въ кустахъ мелькнула нѣмецкая шинель. Гуськинъ свернулъ.

— Подождите, я сейчасъ — крикнулъ онъ.

Переговоры длились не долго. Вылѣзъ онъ изъ кустовъ уже съ двумя нѣмцами, которые дружески, словами и жестами, показывали ему гдѣ повернуть въ объѣздъ.

Повернули, встрѣтили еще нѣмца. Съ нимъ поладили въ двѣ минуты. Встрѣтили еще какого-то мужика — на всякій случай, сунули и ему. Мужикъ деньги взялъ, но долго смотрѣлъ намъ

вслѣдъ и чесалъ правой рукой за лѣвымъ ухомъ. Ясно было, что дали напрасно.

Вечеромъ показались огоньки большого украинскаго мѣстечка К. Обозъ нашъ уже въѣзжалъ на мощеную улицу, когда Гуськинъ въ послѣдній разъ соскочилъ и, подбѣжавъ къ шарахнувшемуся отъ него прохожему, сталъ совать ему деньги. Прохожій удивился, испугался и денегъ не взялъ.

Тогда мы поняли, что зона дѣйствительно кончилась.

***

К-ы большое мѣстечко при желѣзной дорогѣ, съ мощеными улицами, каменными домами, и кое-гдѣ даже электрическимъ освѣщеніемъ.

Набито мѣстечко было до отказу путниками, въ родѣ насъ. Оказывается, переѣхать черезъ границу еще не значило свободно циркулировать по Украинѣ. Здѣсь тоже надо было исхлопотать какія-то бумаги и пропуски.. А на это нужно было время — вотъ и сидѣли здѣсь путники въ родѣ насъ...

Долго колесилъ нашъ обозъ по улицамъ, ища пристанища. Понемногу то та, то другая телѣга, сворачивала и исчезала. Подъ конецъ осталась только голова каравана — наши телѣги — мокрыя, грязныя, безнадежныя.

Тащились медленно, Гуськинъ рядомъ шагалъ по понели, стучалъ въ ворота и ставни, просилъ ночлега. Изъ оконъ высовывались бороды и руки, мотались, махались и все отрицательно.

Мы сидѣли молча, продрогшіе, унылые, безотвѣтные и, казалось, что Гуськинъ погрузилъ на три телѣги какой-то негодный товаръ и предлагаетъ покупателямъ а тѣ только отмахиваются.

— Везетъ, какъ телятъ! — соглашается со

мной Оленушка. — Что подѣлаешь! И мысли у насъ самыя телячьи: выпить бы чего-нибудь теплаго, да лечь спать.

Наконецъ, у воротъ новенькаго двухъэтажнаго домика Гуськинъ вступилъ въ такой оживленный діалогъ съ какимъ-то старымъ евреемъ, что возницы наши остановили лошадей. Они люди опытные, поняли сразу, что дѣло здѣсь можетъ наладиться.

Діалогъ былъ сильно драматическій. Голоса падали до злосвѣщаго шопота, поднимались до изступленнаго крика. Оба собесѣдника говорили одновременно. И вдругъ въ самый грозный моментъ, когда оба, потрясая поднятыми надъ головой руками, вопили, казалось, послѣднее проклятіе, такъ что Оленушка прижавшись ко мнѣ, крикнула:

- - Они сейчасъ вцѣпятся другъ въ друга!

Гуськинъ спокойно повернулся къ намъ и сказалъ извозчикамъ:

— Ну, такъ чего же вы ждете? Въѣзжайте во дворъ.

А старикъ сталъ открывать ворота.

*
**

Домъ, въ который мы вошли, былъ, какъ я помянула, новый, съ электрическимъ освѣщеніемъ, по странной конструкціи: прямо съ параднаго хода, вы попадали въ кухню. Насъ, какъ почетныхъ гостей, провели дальше, но сами владѣльцы, повидимому, построивъ эти хоромы, такъ въ кухнѣ и застряли. Семья была огромная и ютилась на кроватяхъ, сундукахъ, скамейкахъ и просто подстилкахъ.

Самая главная въ семьѣ была старуха. Потомъ старухинъ мужъ — встрѣтившій насъ, длинный бородачъ. Потомъ дочки. Потомъ дочки-

ны дочки, дочкины мужья, сынъ жены сына, сыновья дочки и какой-то общій внукъ, котораго всѣ съ любовью и воплями воспитывали.

Прежде всего, для порядка, спросили у старухи, сколько она съ насъ возьметъ. Именно для порядка, потому что все равно дѣваться некуда.

Старуха сдѣлала скорбное лицо и махнула рукой:

— Э, что объ этомъ говорить! Развѣ можно брать деньги съ людского горя? Когда людямъ некуда преклонить голову! У насъ мѣста сколько угодно, и все въ домѣ есть (тутъ старуха отвернулась и поплевала, чтобы не сглазить) такъ мы еще будемъ брать деньги? Идите себѣ отдыхать, дочкина дочка подастъ вамъ самоваръ и что надо. И прежде всего, обсушитесь и ни о чемъ не безпокойтесь. Какія тамъ деньги!

Мы растроганно протестовали.

Я смотрѣла на эту удивительную женщину со старозавѣтнымъ парикомъ на головѣ (паликъ былъ фальшивый просто черная повязка съ бѣлой ниткой поперекъ, изображающей проборъ).

— Мы же не можемъ пользоваться ея великодушіемъ — сказалъ Аверченко Гуськину. — Надо непремѣнно ее уговорить.

Гуськинъ загадочно улыбнулся.

— Этть! На этотъ счетъ можете быть спокойны. Ну — я вамъ говорю.

Больше всѣхъ взволновалась Олешушка. Со слезами на глазахъ она сказала мнѣ:

— Знаете, мнѣ кажется, что Богъ послалъ намъ это путешествіе, чтобы мы увидѣли, что есть еще на свѣтѣ добрые и великодушные люди. Вотъ эта старуха, простая и не богатая, съ какой радостью дѣлится съ нами своими крохами и жалѣетъ насъ, чужихъ людей!...

— Удивительная старуха! — согласилась я. — И что удивительнѣе всего — лицо у нея такое... не особенно симпатичное...

— Вотъ какъ не слѣдуетъ судить о людяхъ по ихъ внѣшности.

Мы обѣ такъ растрогались, что даже отказались отъ яичницы.

— Бѣдная старуха, отдаетъ послѣднее...

Между тѣмъ Гуськинъ со старикомъ, не теряя времени, стали хлопотать, чтобы раздобыть необходимыя бумаги и завтра же ѣхать дальше.

Сначала старикъ ходилъ куда-то одинъ. Потомъ повелъ Гуськина. Потомъ оба вернулись и Гуськинъ пошелъ одинъ. Вернулся и сказалъ, что начальство требуетъ, чтобы Аверченко и я немедленно явились къ нему лично.

Было уже одиннадцать часовъ, хотѣлось спать, но что подѣлаешь — пошли...

Мы смутно представляли себѣ, что за начальникъ насъ ждетъ. Комендантъ, комиссаръ, хорунжій, писарь, губернаторъ... Сказано итти — идемъ. Мы уже давно отвыкли предъявлять какія-либо права или хотя бы допытываться, куда, къ кому и зачѣмъ насъ тащутъ. — «Везутъ, какъ телятъ!» — права была Оленушка.

Пришли къ какому-то казенному учрежденію. Не то почта, не то участокъ...

Въ небольшой выбѣленной комнатѣ, за столомъ офицеръ. У дверей солдатъ. Форма новая. Значитъ, это и есть украинцы.

— Вотъ — сказалъ Гуськинъ, и отошелъ въ сторону.

Покровительствующій намъ старухинъ мужъ всталъ у самыхъ дверей и весь насторожился: если, молъ, чуть что — онъ шмыгъ за дверь и былъ таковъ.

Офицеръ, молодой, бѣлокурый малый, повернулся къ намъ, посмотрѣлъ внимательно и вдругъ улыбнулся удивленно, широко и радостно.

— Такъ это же-жъ правда? Вы кто?

— Я — Тэффи.

— Я — Аверченко.

— Вы писали въ *Русскомъ Словѣ?*

— Да, писала.

— Гы-и! Такъ я же-жъ всегда читалъ. И Аверченко. Въ *Сатириконѣ*. Гы-ы! Ну, прямо чудеса! Я думалъ вретъ этотъ лайдакъ. А потомъ думалъ — если не вретъ, такъ все равно посмотрю. Я никогда въ Петербургѣ не бывалъ, откровенно говоря, очень интересно было посмотрѣть. Гы-ы! Ужасно радъ! Сегодня же вамъ обоимъ пришлю пропуски! Гдѣ вы остановились?

Тутъ старухинъ мужъ отклеился отъ двери и пролопоталъ свой адресъ, скрѣпивъ его именемъ Божіимъ:

— Ей, Богу!

Мы поблагодарили.

— Значитъ, завтра можемъ ѣхать?

— Если хотите. А то погостили бы! У насъ всего вдоволь. Даже шампанское есть.

— Вотъ это ужъ совсѣмъ хорошо! Даже не вѣрится — мечтательно сказалъ Аверченко.

Офицеръ всталъ, чтобы проводить насъ и тутъ мы замѣтили растерянную физіономію Гуськина.

— Такъ вы же забыли самое главное! — трагическимъ шопотомъ свистѣлъ онъ. — Самое главное! — Мой пропускъ. Господинъ начальникъ! Я же изъ ихъ труппы и еще три артиста. Они же безъ меня никакъ не могутъ! Они же засвидѣтельствуютъ. Что же будетъ? Это будетъ послѣдній день Помпеи на этомъ самомъ порогѣ!

Начальникъ вопросительно посмотрѣлъ на насъ.

— Да, да — сказалъ Аверченко. — Онъ съ нами и трое артистовъ. Совершенно вѣрно.

— Радъ служить.

Распрощались.

Гуськинъ всю дорогу недоумѣвалъ.

— Самое главное позабыли! Что-о? Позабыли себѣ пропускъ для Гуськина! Новое дѣло!

Дома, успокоенные, довольные и сонные, усѣлись мы вокругъ самовара, подогрѣтаго дочкиной дочкой. Такъ какъ острота умиленія надъ самоотверженной старухой уже прошла, то и мы съ Оленушкой согласились поѣсть яичницы.

— Во всякомъ случаѣ, мы сумѣемъ ее убѣдить взять съ насъ, хоть по себѣстоимости за все это, если ужъ она ни за что не хочетъ брать за услуги и квартиру. Не умирать же намъ съ голоду только оттого, что она такой чудесный человѣкъ.

— А какой грубый этотъ Гуськинъ! Осклабился, какъ идіотъ: «Эттъ! Можете быть спокойны». Ему то старуху не жалко.

Въ комнатѣ тепло. Обвѣтренныя щеки горятъ. Пора спать. Скоро двѣнадцать. Влетаетъ молодой человѣкъ, вѣроятно, «сыновъ сынъ».

— Отъ начальника пришли! Требуютъ пана Аверченку.

— Неужто передумалъ?

— А мы то радовались!...

Аверченко вышелъ на кухню. Я за нимъ.

Тамъ, окруженный испуганной толпой дочкиныхъ дочекъ, стоялъ украинскій городовой.

— Вотъ пропуски. И вотъ еще начальникъ прислалъ.

Двѣ бутылки шампанскаго.

Какимъ очаровательнымъ явленіемъ можетъ быть иногда украинскій городовой!

Мы чокаемся теплымъ шампанскимъ...

Какъ высоко вознесла насъ судьба! Электрическое освѣщеніе, пробки летятъ въ потолокъ и пѣнится вино въ чашахъ (именно въ чашахъ, потому что пили его изъ чайныхъ чашекъ).

— Уффъ! — радостно вздыхаетъ Гуськинъ. — А я, признаюсь, мертвецки перепугался!...

***

Утро къ К-цахъ.

Денекъ сѣренькій, но спокойный, уютный, обыкновенный, какъ всякій осенній день. И дождикъ обычный, — не тотъ, который третьяго дня, безнадежный, будто соленый и горькій, какъ слезы, размывалъ у насыпи кровавыя ошмотья...

Лежимъ долго въ постели. Тѣло разбито, душа точно дремлетъ — устали мы!

А за дверями въ кухнѣ говоръ, суетня, звенитъ посуда, кто то кого то бранитъ, кого то выгоняютъ, кто то заступается, галдятъ нѣсколько голосовъ сразу... Милая симфонія. простой человѣческой жизни...

— И гдѣ же тарелкэ? И гдѣ же тарелкэ? — вырывается чье то звонкое соло изъ общаго аккорда.

— А вуйдэ Мошкэ?

И потомъ сложный дуэтъ, что то въ родѣ: «Зохеръ-бохеръ, зохеръ-бохеръ».

И густое контральтовое соло:

— А мишпгене копфъ.

Дверь осторожно пріоткрывается и въ узкую щелку оглядываетъ насъ черный глазокъ. И прячется. Немножко ниже появляется сѣрый глазъ. И

тоже прячется. Потомъ гораздо выше прежняго — опять черный — огромный и удивленный...

Это вѣрно дочкины дочки ждутъ нашего пробужденія.

Пора вставать.

Поѣздъ уходитъ только вечеромъ. Цѣлый день придется просидѣть въ К-цахъ. Скучно. Скучно вѣроятно отъ спокойствія, отъ котораго отвыкли за послѣдніе дни. Два дня тому назадъ мы на скуку пожаловаться не могли...

Приходитъ дочкина дочка и спрашиваетъ, что намъ приготовить на обѣдъ.

Мы съ Оленушкой переглядываемся и въ одинъ голосъ говоримъ:

— Яичницу.

— Да, да и больше ничего не надо.

Дочкина дочка видимо удивлена и даже, какъ будто недовольна. Вѣроятно, добрая старуха разсчитывала угостить насъ на славу.

— Это было бы безсовѣстно съ нашей стороны, если бы мы стали пользоваться ея порывомъ.

— Конечно. Яичница всетаки самое дешевое... Хотя трудно ѣсть ее два дня кряду.

Оленушка смотритъ на меня съ упрекомъ и опускаетъ глаза.

Пришелъ Аверченко. Принесъ цѣлую груду чудесныхъ яблокъ.

Оленушка пошла пройтись. Вернулась взволнованная.

— Угадайте — что я принесла?

— Не знаю.

— Нѣтъ, вы угадайте!

— Корову?

— Нѣтъ, вы не шутите! Угадайте.

— Не могу. Кромѣ коровы, ничего не приходитъ въ голову. Канделябры, что ли?

— Ничего подобнаго, — торжественно говоритъ она и кладетъ на столъ плитку шоколада.

— Вотъ!

Подошла актриса съ собачкой, выпучила глаза. Собачка удивилась тоже: понюхала шоколадъ и тявкнула.

— Откуда? — разспрашивали мы.

— Представьте себѣ — прямо смѣшно — преспокойно купила въ лавченкѣ. И никто ничего и не спрашивалъ, никакихъ бумагъ и въ очереди не стояла. Прямо увидѣла, что въ окошкѣ выставленъ шоколадъ — вошла и купила. Бормана. Смотрите сами.

Какая странная бываетъ жизнь на бѣломъ свѣтѣ: идетъ человѣкъ по улицѣ, захотѣлъ шоколаду, вошелъ въ магазинъ и — «пожалуйста, сдѣлайте ваше одолженіе, извольте-съ». И кругомъ люди и видятъ и слышатъ, и никто ничего, будто такъ и надо. Прямо анекдотъ!

— И не кооперативъ?

— Да нѣтъ-же. Просто лавченка.

— Ну-ну! Нѣтъ-ли тутъ подвоха. Давайте попробуемъ. А когда съѣдимъ, можно еще купить.

— Только, пожалуй, второй разъ ужъ мнѣ лучше не ходить — рѣшаетъ Оленушка. Пусть кто-нибудь другой пойдетъ, а то еще покажется подозрительнымъ...

Умница Оленушка! Осторожность никогда не вредитъ.

Когда первая вспышка восторга и удивленія проходитъ, снова становится скучно. Какъ дотянуть до вечера?

Собачка пищитъ. Ея хозяйка ворчитъ и притопаетъ перчатки. Оленушка капризничаетъ:

— Развѣ это жизнь? Развѣ такъ надо жить? Мы должны такъ жить, чтобы травы не топтать.

Вотъ сегодня опять будетъ яичница, значитъ снова истребленіе жизней. Человѣкъ долженъ посадить яблоню и питаться всю жизнь только ея плодами.

— Оленушка, милая, — говорю я, — вотъ вы сейчасъ, за одинъ присѣсть и между прочимъ съѣли добрый десятокъ. Такъ на долго ли вамъ яблони то хватитъ?

У Оленушки дрожатъ губы, — сейчасъ заревѣтъ.

— Вы смѣетесь надо мной! Да! Да, я съѣла десятокъ яблокъ, такъ что же изъ этого? Это то меня и у...уби...ваетъ больше всего... что я такъ погрязла и бе...безвольная...

Тутъ она всхлипнула и ужъ не сдерживаясь, распустила губы и заревѣла по дѣтски выговаривая «бу-у-у!».

Аверченко растерялся.

— Оленушка! Ну что же вы такъ убиваетесь! — утѣшалъ онъ. Подождите денекъ, — вотъ пріѣдемъ въ Кіевъ и посадимъ яблоню.

— Бу-у-у! — убивалась Оленушка.

— Ей Богу посадимъ. И яблоки живо поспѣютъ — тамъ климатъ хорошій. А если не хватитъ, можно немножко прикупать. Изрѣдка, Оленушка, изрѣдка! Ну не будемъ прикупать, только не плачьте!

Это все наша старуха надѣлала — подумала я. Оленушкѣ передъ этой святой женщиной кажется, что всѣ мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну что тутъ подѣлаешь?

Легкій скрипъ двери прервалъ мои смятенныя мысли...

Опять глазъ!

Посмотрѣлъ, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глазъ, другого сорта. Посмотрѣлъ и спрятался. Третій глазъ оказался такимъ смѣ-

лымъ, что впустилъ съ собой въ щелочку и носъ.

Голосъ за дверью петерпѣливо спросилъ:

— Ну-у?

— Вже! — отвѣтилъ онъ и спрятался.

Что тамъ дѣлается?

Мы стали наблюдать.

Ясно было: на насъ смотрятъ, соблюдая очередь.

— Можетъ быть это Гуськинъ насъ за деньги показываетъ? — додумался Аверченко.

Я тихонько подошла къ двери и быстро ее распахнула.

Человѣкъ пятнадцать, а то и больше, отскочили и, подталкивая другъ друга, спрятались за печку. Это все были какіе то посторонніе, потому что дочкины дочки и прочіе домочадцы занимались своимъ дѣломъ, даже какъ то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность къ поведенію этихъ посторонніхъ. А совсѣмъ отдѣльно стоялъ Гуськинъ и невинно облупливалъ ногтемъ штукатурку со стѣнки.

— Гуськинъ! Что это значитъ?

— Ффа! Любопытники. Я же имъ говорилъ — чего смотрѣть! Хотите непремѣнно куда-нибудь смотрѣть, такъ смотрите на меня. Писатели! Что-о? Что у нихъ внутри все равно не увидите а снаружи такъ совсѣмъ такіе же, какъ я. Что-о? Ну конечно совсѣмъ такіе же.

Одно интересно — продавалъ Гуськинъ на насъ билеты или пускалъ даромъ? Можетъ быть и даромъ, какъ пьянистъ, который, чтобы не терять doigté, упражняется на нѣмыхъ клавишахъ.

Мы вернулись къ себѣ, заперевъ дверь поплотнѣе.

— А собственно говоря — почему мы ихъ лишили удовольствія? — размышляла Оленушка.

— Если имъ такъ интересно — пусть бы смотрѣли.

— Вѣрно, Оленушка, — поспѣшила я согласиться (а то еще опять зареветъ). Да, скажу больше: чтобы доставить имъ удовольствіе мы бы должны были придумать какой-нибудь трюкъ: поставить Аверченку кверхъ ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису съ собачкой посадить на комодъ и пусть говоритъ «ку-ку».

Днемъ послѣ первой яичницы (потомъ была и вторая — передъ отъѣздомъ) развлекъ насъ старухинъ мужъ. Это былъ самый мрачный человѣкъ изъ всѣхъ встрѣченныхъ мною на пути земномъ. Настоящему не довѣрялъ, въ будущее не вѣрилъ.

— У васъ здѣсь въ К-цахъ хорошо, спокойно.

Онъ уныло долбилъ носомъ.

— Хорошо-о. А что будетъ дальше?

— Какіе вкусные у васъ яблоки!

— Вкусные. А что будетъ дальше?

— У васъ много дочекъ.

— Мно-го-о. А что будетъ дальше?

Никто изъ насъ не зналъ, что будетъ дальше и отвѣтить не могъ, поэтому разговоръ съ нимъ всегда состоялъ изъ короткихъ, но глубокихъ по философской насыщенности вопросовъ и отвѣтовъ — въ родѣ діалоговъ Платона.

— У васъ очень хорошая жена, — сказала Оленушка. — Вообще, вы всѣ, кажется, очень добрые!

— Добрые. А что бу...

Онъ вдругъ безнадежно махнулъ рукой, повернулся и вышелъ.

Послѣ второй яичницы сложили вещи; мужья дочкиныхъ дочекъ поволокли нашъ багажъ на вокзалъ; мы трогательно попрощались со всѣми и

вышли на крыльцо, предоставивъ Гуськину самую деликатную часть пропанія - - расплату. Внушили ему, чтобы непремѣнно убѣдилъ взять деньги, а если не удастся убѣдить — пусть положитъ ихъ на столъ, а самъ скорѣе бѣжитъ прочь. Послѣднюю штуку мы съ Оленушкой придумали вмѣстѣ. И еще добавили, что если святая старуха кинется за нимъ, то пусть онъ бѣжитъ не оглядываясь на вокзалъ, а мы вразсыпную за нимъ—ей не догнать, она всетаки старая.

Ждали и волновались.

Черезъ дверь слышны были ихъ голоса — Гуськина и старухи, то порознь, то оба вмѣстѣ.

— Ахъ, не сумѣетъ онъ! - томилась Оленушка. — Такія вещи надо дѣлать очень деликатно.

И вдругъ раздался дикій вопль. Вопилъ Гуськинъ.

— Онъ съ ума сошелъ!

Вопилъ, громкія, дикія слова.

— Гелдъ? Гелдъ?

И старуха вопила и тоже «гелдъ».

Крикъ оборвался. Выскочилъ Гуськинъ. Но какой! Мокрый, красный, ротъ на боку, отъ волненія расшпуровались оба «штиблета» и воротничекъ соскочилъ съ петли.

— Идемъ! — мрачно скомандовалъ онъ.

- Ну что — взяла? — съ робкой надеждой спросила Оленушка.

Онъ весь затрясся:

— Взяла? Хотѣлъ бы я такъ заплатить, какъ она не взяла. Что-о? Я уже давно понималъ, что она сдереть, но чтобы такъ содрать — пусть никогда не зайдетъ солнце, если я что подобное слыхалъ!

Гуськинъ въ гнѣвѣ своемъ пускался въ самые

сложные риторическіе обороты. Не всегда и поймешь въ чемъ дѣло.

— Такъ я ей сказалъ просто: вы, мадамъ, себѣ, мадамъ, вѣрно пропулись съ лѣвой ноги, такъ подождемъ, когда вы себѣ проспитесь. Что-о? Я ей просто отвѣтилъ.

— Но вы всетаки заплатили сколько нужно? — безпокоились мы.

— Ну? Новое дѣло! Конечно заплатилъ. Заплатилъ больше, чѣмъ нужно. Развѣ я такой, который не платитъ? Я такой, который платитъ.

Онъ говорилъ гордо. И вдругъ совершенно некстати прибавилъ скороговоркой.

— Деньги, между прочимъ, конечно, ваши.

6.

Изъ К-цовъ выѣхали въ товарномъ вагонѣ.

Сначала показалось даже забавнымъ, сѣли въ кружокъ на чемоданы, словно вокругъ костра. Грызли шоколадъ, бесѣдовали.

Особенно интереснымъ было влѣзать въ вагонъ. Ни подножки, ни лѣсенки не было, а такъ какъ прицѣпили насъ гдѣ то въ хвостѣ поѣзда, то на нашу долю на остановкахъ платформы никогда не хватало. Поэтому, ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а тѣ, кто уже былъ въ вагонѣ, втаскивали влѣзающаго за руки.

Но скоро все это надоѣло. Станціи были пустыя, грязныя, съ наскоро прикалоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографіей и словами произведеніемъ какого то развеселаго анекдотиста...

Этотъ новый для насъ языкъ такъ же мало былъ пригоденъ для офиціальнаго примѣненія, какъ, напримѣръ, русскій народный. Развѣ не удивило бы васъ, если бы гдѣ нибудь въ русскомъ казенномъ учрежденіи вы увидѣли плакатъ: «Не при безъ доклада». Или въ вагонѣ: «Не высовывай морду». «Не напирай башкой на стекло». «Здѣсь тары-бары разводить воспрещается».

Но и веселыя надписи надоѣли.

Тащили насъ медленно, остановки были частыя и долгія. На вокзалахъ буфеты и уборныя закрыты. Видно было, что волна народнаго гнѣва только что прокатилась, и просвѣтленное населеніе еще не вернулось къ будничному, земному и человѣческому. Всюду грязь и смрадъ, и тщетно взывало начальство къ «чоловікамъ» и «жинкамъ», указывая имъ мудрыя старыя правила вокзальнаго обихода — освобожденныя души были выше этого.

Сколько времени мы тащились — не знаю. Помню, что раздобыли откуда то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гусьянинъ сказалъ:

— Это прямо исчадіе ада.

И лампу погасили.

Стало холодно и я, завернувшись въ свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты Аверченки и Олешушки.

О котиковой шубкѣ. я упомянула недаромъ. Котиковая шубка это — эпоха женской бѣженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надѣвали, уѣзжая изъ Россіи, даже лѣтомъ, потому что оставлять ее было жалко, она представляла нѣкоторую цѣнность и была теплая, — а кто могъ сказать, сколько времени продолжится странствіе? Котиковую шубу видѣла я въ Кіевѣ и въ Одессѣ, еще новенькую съ ровнымъ, блестящимъ мѣхомъ. Потомъ въ Новороссійскѣ. обтертую по краямъ съ плѣшью на боку и локтяхъ. Въ Константинополѣ съ обмызганнымъ воротникомъ, со стыдливо подогнутыми обшлагами и, наконецъ, въ Парижѣ отъ двадцатаго до двадцать второго года. Въ двадцатомъ году, протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колѣнъ, съ воротникомъ и обшлагами изъ новаго мѣха, черифе и масляністѣе — заграничной поддѣлки. Въ двадцать четвертомъ году шубка исчезла.

Остались обрывки воспоминаній о ней на суконномъ манто, вокругъ шеи, вокругъ рукава, иногда на подолѣ. И кончено. Въ двадцать пятомъ году набѣжавшія на насъ своры крашеныхъ кошекъ съѣли кроткаго ласковаго котика. Но и сейчасъ, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту цѣлую эпоху женской бѣженской жизни, когда мы въ теплушкахъ, на пароходной палубѣ и въ трюмѣ спали, подстелivъ подъ себя котиковую шубку въ хорошую погоду и покрываясь ею въ холода. Вспоминаю даму въ парусиновыхъ лаптяхъ на голыхъ ногахъ, которая ждала трамвая въ Новороссійскѣ, стоя съ грудnымъ ребенкомъ подъ дождемъ. Чтобы дать мнѣ почувствовать, что она «не кто нибудь», она говорила ребенку по-французски съ милымъ русскимъ институтскимъ акцентомъ:

— Силь ву плэ! Не плеръ па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей!

На ней была котиковая шубка.

Удивительный звѣрь этотъ котикъ. Онъ могъ вынести столько, сколько не всякая лошадь сможетъ.

Артистка Вѣра Ильнарская тонула въ котиковой шубкѣ во время кораблекрушенія у турецкихъ береговъ на «Грэгорѣ». Конечно, весь багажъ испортился, — кромѣ котиковой шубки. Мѣховщикъ, которому она впослѣдствіи дана была для передѣлки, рѣшилъ, что, очевидно, котикъ, какъ животное морское, попавъ въ родную стихію, только поправился и окрѣпъ.

Милый ласковый звѣрь, комфортъ и защита тяжелыхъ дней, знамя бѣженскаго женскаго пути. О тебѣ можно написать тѣлую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебѣ въ своей памяти.

*
**

Итакъ, трясемся мы въ товарномъ вагонѣ.

Я завернулась въ шубку, слушаю мечты Оленушки и Аверченки.

— Прежде всего, теплую ванну, — говоритъ Оленушка. — Только очень скоро и потомъ сразу жаренаго гуся.

— Нѣтъ, сначала закуску, — возражаетъ Аверченко.

— Закуска ерунда. И потомъ она холодная. Нужно сразу сытное и горячее.

— Холодная? Нѣтъ, мы закажемъ горячую. Ели вы въ "Вѣнѣ" черный хлѣбъ, поджаренный съ мозгами? Нѣтъ? Вотъ видите, а беретесь разсуждать. Чудная вещь, и горячая.

— Телячьи мозги? — дѣловито любопытствуетъ Оленушка.

— Не телячьи, а изъ костей. Ничего то вы не понимаете. А вотъ еще, у Контана на стойкѣ, гдѣ закуски, съ правой стороны — между грибками и омаромъ — всегда стоитъ горячій форшмакъ — чудесный. А потомъ у Альберта, съ лѣвой стороны около мортоделлы — итальянскій салатъ... А у Медвѣдя, какъ разъ посрединѣ въ кастрюлечкѣ такія штучки, въ родѣ ушковъ съ грибами, тоже горячія...

— Хорошо, — торопится Оленушка. — Не будемъ терять время. Значитъ, все это изъ всѣхъ ресторановъ будетъ уже на столѣ, но все-таки, одновременно и жареный гусь съ капустой... нѣтъ, съ кашей, съ кашей сытнѣе.

— А не съ яблоками?

— Я же говорю, что съ кашей сытнѣе. Беретесь разсуждать, а сами ничего не понимаете. Такъ мы никогда ни до чего не договоримся.

— А гдѣ же все это будетъ? — спрашиваю я.

- Гдѣ? Такъ вообще... — разсѣянно отвѣчаетъ Оленушка и снова пускается въ дѣловой разговоръ. — Еще можно изъ Кисловодска достать шашлыкъ, изъ Орѣховой Балки.

- Вотъ это дѣльно, — соглашается Аверченко. — А въ Харьковѣ я ѣлъ очень вкусные томаты съ чѣснокомъ. Можно ихъ подать къ этому шашлыку.

— А у насъ въ имѣніи пекли пирогъ съ палимомъ. Пусть и этотъ пирогъ подадутъ.

—Отлично, Оленушка.

Зашевелилась въ углу темная глыба. — Гуськинъ подалъ голосъ.

— Извиняюсь, госпожа Тоффи... — вкрадчиво спросилъ онъ. — Я любопытенъ знать... вы любите клюцки?

— Что? Клецки? Какія клецки?

- Моя мамаша дѣлаетъ клюцки изъ рыбы. Такъ она васъ угоститъ, когда вы будете у насъ жить.

Когда же я буду у васъ жить?— съ тоской ужасныхъ предчувствій спрашиваю я.

— Когда? Въ Одессѣ, — спокойно отвѣчаетъ Гуськинъ.

- Такъ вѣдь я буду въ Лондонской гостиницѣ!

— Ну, конечно. Кто споритъ? Никто даже не споритъ. Вы себѣ живете въ Лондонской, по лока что, пока багажъ, пока извозчикъ, пока всѣ эти паскудники разберутся, вы себѣ спокойно сидите у Гуськина и мамаша угощаетъ васъ клюцками.

О-о-о! Мое больное воображеніе сразу нарисовало мнѣ комнатку, раздѣленную пополамъ ситцевой занавѣской. Комодъ. На комодѣ гуськинскіе штиблеты и отслужившій воротничекъ. А за перегородкой — мамаша стряпаетъ «клюцки».

— Тутъ что то дѣло неладно, — шепчетъ мнѣ Аверченко. — Надо будетъ вамъ въ Кіевѣ хоро-

шенько разобраться во всѣхъ этихъ комбинаціяхъ.

Ободренный моимъ молчаніемъ Гуськинъ развиваетъ планы:

— Мы еще можемъ въ Гомелѣ устроить вечерокъ. Ей Богу, можемъ по дорогѣ сдѣлать. Гомель, Шавли. Ручаюсь, вездѣ будутъ валовой сборъ.

Ну, и Гуськинъ! Вотъ это антрепренеръ! За такимъ не пропадешь.

— А, скажите, Гуськинъ—спрашиваетъ Аверченко — вамъ, навѣрное, очень много приходилось возить гастролеровъ?

— О, таки порядочно. Хоръ возилъ, труппу возилъ. Вы спросите Гуськина, чего Гуськинъ не возилъ.

— Такъ вы, вѣроятно, милліоны заработали на этихъ валовыхъ сборахъ-то?

— Милліоны? Хе! Дайте мнѣ разницу. Дайте мнѣ разницу, отъ двадцати тысячъ, такъ я уже буду доволенъ.

— Ничего не понимаю, — шепчу я Аверченкѣ.

— Какую ему нужно разницу?

— Это значитъ, что онъ такъ мало заработалъ, что если вычесть эту сумму изъ двадцати тысячъ, то онъ съ удовольствіемъ возьметъ разницу.

— Господи, какой сложный человѣкъ мой Гуськинъ.

— Гуськинъ, почему вы такъ мало зарабатывали?

— Потому, что я Гуськинъ, а не Русланскій. Я смотрю, чтобы гастролеру было хорошо, чтобы ему былъ первый номеръ въ первой гостиницѣ и, чтобы прислуга его не колотила. А Русланскій такъ онъ думаетъ, что импрессаріо долженъ сидѣть въ первомъ номерѣ. Такъ я ему говорю — «слушайте, Гольдшмукеръ, я такой же лордъ, какъ и вы, такъ почему я могу ночевать въ корридорчикѣ, а вы должны въ первомъ номерѣ, а вашъ гастролеръ на ули-

цѣ подъ зонтикомъ? Русланскій? Что такое Русланскій? Я таки ему прямо сказалъ: когда Гуськинъ кончаетъ гастроль, такъ гастролеръ говоритъ: «Жалко, что я не родился на денечекъ раньше, я бы дольше съ Гуськинымъ ѣздилъ». А когда Руслапскій кончаетъ, такъ гастролеръ ему говоритъ: «чтобы тебѣ, Гольдшмукеръ, ни дня, ни покрышки». Да, ни дня, ни покрышки. И еще называетъ его паршивцемъ, но я этого передъ вами не повторяю. Что-о?

Но тутъ бесѣда наша прервалась, потому что поѣздъ остановился, дверь вагона съ визгомъ двинулась вбокъ и властный голосъ громко крикнулъ:

— Heraus!

А другой голосъ менѣе властный проблеялъ:

— Уси злизайти!

— Новое дѣло! — говоритъ Гуськинъ и исчезаетъ въ мутной мглѣ.

Прыгаемъ въ жидкую скользкую грязь. Прыгаемъ въ неизвѣстное.

Расталкивая насъ, лѣзутъ въ вагонъ солдаты, проворно выбрасываютъ нашъ багажъ и задвигаютъ дверь.

Ночь, дождь, мутные огоньки ручныхъ фонариковъ, солдаты

Итакъ, мы снова подъ дождемъ на платформѣ.

Стоимъ, сбились тѣсной кучкой, какъ барапта въ снѣжную бурю — стопть морды вмѣстѣ, хвосты наружу. Ждемъ покорно. Вѣримъ — нашъ пастухъ Гуськинъ дѣло уладитъ.

Не могу сказать, чтобы настроепіе у насъ было очепь унылое. Конечно, ужинъ и ночлегъ въ теплой комнатѣ были бы пріятнѣе, чѣмъ мелкій дождичекъ на открытой платформѣ, но вкусы у насъ выработались скромные. Увѣренность, что буквально никто не собирается насъ разстрѣливать, напол-

няла душу радостнымъ удивленіемъ и довольствомъ. Дождикъ уютный, даже не очень мокрый... Право же, на свѣтѣ совсѣмъ недурно живется.

Рядомъ съ нами на вокзальной телѣжкѣ сложенъ нашъ багажъ. Сторожитъ его нѣмецкій солдатъ.

Станція освѣщена скудно. Вдали свѣтитъ стеклянная дверь — входятъ и выходятъ темныя фигуры. Тамъ, за этой дверью, навѣрное, и рѣшаются судьбы міра.

Высокая, черная тѣнь шагаетъ къ намъ. Это Гуськинъ.

— Опять начались муки Тантала — вертишься подъ дождемъ и не знаешь, кому совать взятку, — растерянно говоритъ онъ.

— Чего они отъ насъ хотятъ, Гуськинъ?

— Хотятъ въ карантинъ сажать. Плохо имъ, что у нихъ въ карантинѣ пусто! Что-о? Я имъ говорю, что мы уже сидѣли. А они говорятъ — покажите бумаги, когда вы изъ Москвы выѣхали. А по бумагамъ, недѣлю тому назадъ. А гдѣ же двѣ недѣли карантина? Такъ я отвѣтилъ — что? Я отвѣтилъ, что я пойду деньги размѣняю. А, что вы хотите, чтобы я отвѣтилъ на подобный вопросъ?

— Какъ же быть?

— Какъ нибудь будемъ. Пуганая ворона на кусты дуетъ. Надо найти кому дать. Для чего же они карантинъ выдумали? Нужно только разыскать какого нибудь еврея, такъ онъ намъ дорогу покажетъ.

Гуськинъ ушелъ.

— Знаете, господа, нужно попробовать поговорить съ солдатомъ, — падумала я. — Оленушка, начнемъ говорить между собой по-нѣмецки, чтобы расположить его въ свою пользу. Хорошо?

— Я совсѣмъ нѣмецкій забыла! — говоритъ Оленушка. — Помню кое-что изъ грамматики.

— Ничего, валяйте изъ грамматики, только съ чувствомъ.

— Аусгеноммень зиндъ: биндень, финден, клингенъ, — начала Оленушка, — гелингенъ, рингенъ...

— Веселѣе, Оленушка, оживленнѣе!..

— Нахъ, ауфъ, хинтеръ, небенъ, инъ, штеенъ, митъ демъ аккузативъ, — улыбаясь, щебетала Оленушка.

— Митъ, нахъ, нехстъ, небстъ, — отвѣчаю я. — утвердительно кивая головой. Смотрите — солдатъ начинаетъ шевелиться. Валяйте, скорѣе спце!

— Аусгеноммень зиндъ: биндень, бандъ, гебуденъ. Дрингенъ, дрангъ...

— Цу, аусъ..

Солдатъ смотрѣлъ на насъ съ тусклымъ любопытствомъ.

— Ну, вотъ, патріотическая жилка у него, очевидно, завибрировала.Какъ же быть дальше?

— Можетъ быть спѣть дуэтомъ «Дасъ варъ инъ Шенебергъ»?

— Пѣть, пожалуй, неудобно. Куда это уставился нашъ солдатъ? Смотритъ на мой чемоданъ.

Я подхожу къ нему. Ага! На моемъ старомъ чемоданѣ наклейка «Берлинъ». Вотъ онъ, куда смотритъ. Ну, теперь возьму его голыми руками.

— Берлинъ! Чудесный городъ, — говорю я по-нѣмецки. — Вы бывали въ Берлинѣ?

Нѣтъ, онъ въ Берлинѣ не былъ.

— Ахъ, когда все это кончится непремѣнно поѣзжайте. Ахъ, ахъ! Прекрасный городъ. Ресторанъ Кемпинскаго... магазинъ Вертхейма. пиво, колбаса, красота.. Ахъ, ахъ, ахъ!

Нѣмецъ улыбается, патріотическая жилка пля-шетъ во всю

— А вы были въ Берлинѣ?

— Ну, еще бы! Вотъ доказательство — мой чемоданъ. Берлинъ, ахъ, ахъ!

Ну, однако, пора къ дѣлу.

— Да, это было хорошее время до войны. А теперь такъ трудно. Вотъ стоимъ здѣсь подъ дождемъ и не знаемъ, какъ быть. Мы, конечно, были въ карантинѣ, но недолго, потому что мы ужасно здоровые. Насъ и отпустили. Только свидѣтельство мы не догадались взять. Какъ быть?

Солдатъ вдругъ сдѣлалъ каменное лицо, повернулся въ профиль, и не глядя на меня, сказалъ:

— Лейтенантъ Швеннъ.

И еще разъ повторилъ потише, но очень внушительно:

— Лейтенантъ Швеннъ.

Потомъ сразу повернулся и отошелъ.

Побѣда! Бѣгу искать Гуськина.

Фонари мигаютъ — мелькаетъ по нимъ суетливая тѣнь. Конечно, это Гуськинъ.

— Гуськинъ! Гуськинъ! Солдатъ сказалъ «лейтенантъ Швеннъ». Понимаете?

— Хо! Мнѣ уже десять человѣкъ сказали «Швеннъ». Онъ тамъ у начальника. Надо ждать.

Я вернулась къ своимъ.

Солдатскій патріотизмъ такъ разыгрался, что, повидимому, и успокоиться не могъ.

— Лейтенатъ Швеннъ! повторилъ солдатъ, не глядя на насъ. — Нунъ? Лейтенантъ Швеннъ.

Тогда я догадалась и сказала:

— Шонъ! Уже!

Онъ шевельнулъ бровями и ухомъ и успокоился.

Подошелъ Гуськинъ.

— Ну, что?

— Такіе пустяки! Такъ дешево, что прямо стыдъ! Что-о? Только нужно все-таки, чтобы вы сами пошли поговорить съ начальникомъ. Попросите,

чтобы далъ пропускъ. Онъ все равно дастъ, но нужно, чтобы вы попросили.

Пошли къ начальнику. Что ему сказать — сами не знали.

Начальникъ — нѣмецкій офицеръ — сидѣлъ за столомъ. Вокругъ — свита, украинская офицерская молодежь.

— Чего же вы такъ торопитесь? — спрашивала свита. — Посидите себѣ у нашемъ городу.

— Мы очень торопимся. У насъ послѣзавтра въ Кіевѣ концертъ, мы непремѣнно должны быть къ сроку на мѣстѣ.

Кое-кто изъ офицеровъ зналъ наши имена Улыбались, смущались, шутили:

— Вотъ вы вмѣсто того, чтобы задерживать насъ, лучше сами берите разрѣшеніе и пріѣзжайте на нашъ концертъ въ Кіевъ, — сказалъ Аверченко. — Мы васъ всѣхъ приглашаемъ. Пріѣзжайте непремѣнно.

Молодежь заволновалась.

— Концертъ? И вы участвуете? Ахъ, если бы только было можно!

— Карантинъ? Какой тамъ карантинъ, — безсвязно лепеталъ Гуськинъ. — Это же русскіе писатели! Они такъ здоровы, что не дай Богъ. Слыхали вы, чтобы русскій писатель хворалъ? Фа! Вы посмотрите на русскаго писателя!

Онъ съ гордостью выставилъ Аверченко и даже обдернулъ на немъ пальто.

— Похожъ онъ на больного? Такъ я вамъ скажу нѣтъ. И черезъ три дня, послѣ завтра, у нихъ концертъ. Такой концертъ, что я бы самъ валомъ валилъ на такой концертъ. Событіе въ анналахъ исторіи. А, если нужно карантинъ, такъ мы его потомъ попщемъ въ Кіевѣ. Ей Богу. Найдемъ и посидимъ себѣ немножечко. Отчего намъ не посидѣть? Что-о?

— Попросите же за насъ вашего нѣмца, — сказала я офицерамъ.

Тѣ пощелкали каблуками, пошептались, подсунули нѣмцу какія-то бумажки.

Тутъ выступилъ Гуськинъ.

— Главное дѣло, не забудьте сказать, что я прежде всѣхъ сидѣлъ въ карантинѣ, — внушительно сказалъ онъ мнѣ. — Еще вздумаютъ меня тутъ задерживать! Я свою мамашу уже пять мѣсяцевъ не видалъ.

И повернувшись къ изумленнымъ офицерамъ, заявилъ официальнымъ топомъ:

Я нахожусь уже пять мѣсяцевъ внѣ матери.

***

И вотъ мы снова въ вагонѣ.

Въ Гомелѣ добрыя души совѣтовали намъ проѣхать до Кіева на пароходѣ.

— Будете проѣзжать мимо острова, гдѣ засѣла какая то банда. Банда всѣ пароходы обстрѣливаетъ изъ пулемета.

Прогулка, очевидно, очень уютная. Но мы все-таки рѣшили ѣхать по желѣзной дорогѣ.

Вагонъ приличный, перваго класса, но публики немного и публика странная — все какіе-то мужики въ сермягахъ. Сидятъ, молчатъ, шевелятъ бровями. Бородачъ съ золотымъ зубомъ на мужика совсѣмъ не похожъ. На немъ грязный тулупъ, но пухлыя руки, холеныя, съ вплывшимъ въ четвертый палецъ обручальнымъ кольцомъ.

Странный народъ. Смотрятъ, положимъ не злобно. Когда ѣхали въ классномъ вагонѣ изъ Москвы, публика смотрѣла на насъ звѣрски: интеллигенты подозрѣвали въ насъ чекистовъ, плебсъ — баръ, продолжающихъ пить кровушку.

— Ну, вотъ, скоро и Кіевъ.

Гуськинъ развлекаетъ насъ мирной бесѣдой.

— Я въ Кіевѣ познакомлю васъ съ моимъ пріятелемъ, — говоритъ онъ Оленушкѣ. — Очень милый молодой человѣкъ, глубоко интеллигентный. Лотосъ.

— Что!

— Лотосъ.

— Индусъ? — съ благоговѣніемъ спрашиваетъ Оленушка, — и я вижу въ глазахъ ея мелькнувшую мечту о іогахъ, о посаженной яблонѣ и плодахъ ея.

— Ну-у! Зачѣмъ такъ мрачно? — коммивояжеръ, — отвѣчаетъ обиженный за своего пріятеля Гуськинъ.

Лотосъ коммивояжеръ. Оптическія стекла. Аристократической семьи. Дядя имѣлъ аптечный складъ въ Бердянскѣ. Думаетъ жениться.

— А вы, Гуськинъ, не женаты?

— Нѣтъ.

— Отчего?

— У меня слишкомъ высокія требованія отъ дѣвушки.

— Какія же требованія?

— Во-первыхъ, дебелость.

Гуськинъ опустилъ глаза. Помолчалъ и прибавилъ:

— И все-жъ таки приданое.

Съ удареніемъ на «и».

— А скажите, Гуськинъ, какъ васъ зовутъ? А то неловко, что мы все зовемъ васъ по фамиліи.

Гуськинъ смущенно усмѣхнулся.

— Имя? Такъ вы же станете смѣяться.

— Ну, Господь съ вами. Почему мы будемъ смѣяться?

— Ей Богу, будете смѣяться. Я не скажу.

— Ну, Гуськинъ, милый, честное слово не будемъ! Ну, скажите!

— Не настаивайте, Оленушка, — шепчу я. — Можетъ быть, оно какъ-нибудь на нашъ слухъ неприлично звучитъ.

— Ну, пустяки, скажите, Гуськинъ, какъ васъ зовутъ?

Гуськинъ покраснѣлъ и развелъ руками.

— Меня зовутъ... извините — это же прямо анекдотъ! — Александръ Николаевичъ! Вотъ.

Мы, дѣйствительно, ожидали чего угодно, но не этого.

— Гуськинъ! Гуськинъ! Уби-и-лъ!

Гуськинъ хохочетъ громче всѣхъ и утираетъ глаза тряпичнымъ комочкомъ неизъяснимаго цвѣта. Вѣроятно, въ болѣе шикарныя времена, это было носовымъ платкомъ...

7.

Чѣмъ ближе къ Кіеву, тѣмъ оживленнѣе станціи.

На вокзалахъ буфеты. По платформамъ ходятъ жующіе люди съ масляными губами и лоснящимися щеками. Выраженіе лицъ изумленно - довольное.

На стѣнахъ афиши, свидѣтельствующія о потребности населенія въ культурныхъ развлеченіяхъ. Читаю:

«Грандіозный атракціонъ собакъ. По системѣ знаменитѣйшаго Дурова».

«Труппа лилипутовъ».

«Артистка Александринскаго театра съ полнымъ мѣстнымъ репертуаромъ».

Гуськинъ сказалъ:

— Здѣсь таки буквально жизнь бьетъ ключомъ по головѣ. Какія афиши! Ловко составлены. Что-о? Я бы самъ на такую, программу валомъ валилъ!

Всюду нѣмецкіе полицейскіе, чисто вымытые. крѣпко вытертые, туго набитые украинскимъ саломъ и хлѣбомъ.

Насъ еще два раза пересаживаютъ. Совсѣмъ ужъ непонятно почему.

На одной изъ большихъ станціи, на платформѣ, въ толпѣ ожидающихъ, стоятъ Аверченко, Гуськинъ, актриса съ собачкой — всѣ какъ на подборъ

высокаго роста. Вдругъ подбѣгаетъ къ нимъ запыхавшійся субъектъ — котелокъ на затылкѣ, распахнутое пальто вздулось кривымъ парусомъ, глаза блуждаютъ.

— Извините мене вопросъ, — вы не лилипуты?

- Нѣтъ, скромно отвѣчаетъ Аверченко.

Кривой парусъ несетъ субъекта дальше.

Гуськинъ даже не удивился.

— Вѣроятно, ожидается труппа и запоздала пріѣздомъ. Чего же вы смѣетесь? Это же часто бываетъ, что группа опаздываетъ. Что-о?

Онъ находитъ вопросъ вполнѣ естественнымъ.

Съ каждой пересадкой составъ публики мѣняется. Появляются прилично и даже элегантно одѣтые люди, «господа». Къ послѣднему перегону остаются сплошь одни господа, да барыни.

— Куда же они всѣ дѣвались?

Уйдетъ въ станціонную мужскую комнату темная личность съ чемоданчикомъ, а выходитъ изъ мужской комнаты совершенно ясная личность — адвокатъ, помѣщикъ, гидра контръ-революціи, съ гладко причесанной головой, въ чистомъ воротничкѣ и несетъ рукой въ перчаткѣ тотъ же чемоданчикъ .Эге! Лица то все знакомыя. Вонъ и тотъ пухлый ,съ бородкой — расчесалъ бородку, брови нахмурилъ, снимаетъ озабоченно пушинку съ рукава драповаго пальто и уже выражаетъ недовольство какими то порядками.

— Безобразіе! Эдакая распущенность!

Ну ужъ если дошло до «безобразія» и «распущенности», значитъ почва у насъ подъ ногами прочная.

Скоро и Кіевъ.

Гуськинъ озабачиваетъ насъ неожиданнымъ вопросомъ:

— А гдѣ вы всѣ думаете остановиться?

— Гдѣ нибудь въ отелѣ.

— Въ отелѣ?

Онъ загадочно усмѣхается.

— А что?

— Говорятъ, что всѣ отели реквизированы. И въ частныхъ квартирахъ столько народу набито, что я хотѣлъ бы, чтобы въ моемъ кошелькѣ было такъ тѣсно. Что-о?

У меня знакомыхъ въ Кіевѣ не было, и куда сунуться, если въ отель не пустятъ — я не имѣла никакого представленія.

— Это собственно говоря, Гуськинъ, ваша обязанность, — сказалъ Аверченко, — разъ вы импрессаріо, вы должны были приготовить помѣщеніе, списаться съ кѣмъ нибудь, что ли.

—А съ кѣмъ я спишусь? Господину гетману напишу? Такъ я бы ему написалъ, а онъ бы мнѣ прописалъ. Такъ пусть лучше госпожа Тэффи опйдетъ къ гетману, такъ изъ этого, можетъ быть, что нибудь выйдетъ. Не говорю, что выйдетъ хорошее, но что нибудь непремѣнно выйдетъ. Ну, я уже вижу, что госпожа Тэффи никуда не пойдетъ, а останется себѣ ждать на вокзалѣ, а Гуськинъ побѣжитъ по городу и найдетъ квартиру. Опять столько работы, что ни охнуть, ни здохнуть.

— Это входитъ въ ваши обязанности! Чего же вы огорчаетесь?

— Обязанности? — философскимъ тономъ сказалъ Гуськинъ. — Конечно, обязанности. Ну такъ найдите мнѣ дурака, который бы веселился, что долженъ исполнять обязанности! Что-о?

Оленушка вступила въ разговоръ.

— Въ крайнемъ случаѣ я возьму все на себя, — кротко сказала она. У меня въ Кіевѣ есть подруги, можетъ быть, можно устроиться у нихъ...

Личико у Олепушки было озабоченное и грустное. Ясно было, что она приняла твердое рѣшеніе «не топтать травы»...

На скамейкѣ черезъ проходъ актриса съ собачкой говорила шипящимъ голосомъ Аверченкину антрепренеру:

Почему другіе могутъ, а вы не можете? Почему вы никогда ничего не можете?

И тутъ же сама себѣ отвѣчала:

Потому что вы форменный идіотъ.

Я сказала тихонько Аверченкѣ:

— Мнѣ, кажется, что ваши актеры плохо ладятъ другъ съ другомъ. Эта самая Фаничка и вашъ импрессаріо всю дорогу шипятъ другъ на друга. Трудно будетъ устраивать съ нимъ вечера.

Да, они бранятся, — спокойно сказалъ Аверченко. Но это вполнѣ нормально. Это же старый романъ.

— Романъ?

Я прислушалась.

— Мнѣ стыдно за васъ, шипѣла актриса. Вѣчно вы не бриты, у васъ рваный голстукъ, у васъ грязный воротничекъ и вообще видъ Альфонса.

— Да, вы правы, — сказала я Аверченко. Здѣсь, повидимому, глубокое и прочное чувство.

Импрессаріо бубнилъ въ отвѣтъ:

— Если бы я былъ любителемъ скандаловъ, то я сказалъ бы вамъ, что вы пошлая дура и вдобавокъ злая. Имѣйте это въ виду.

— Да, — повторила я. Глубокое и прочное съ обѣихъ сторонъ.

Нужно, однако, поднять настроеніе.

— Господа, — сказала я. — Почему вы такъ пріуныли. Помните, какъ вы мечтали въ теплушкѣ о ваннѣ, о хорошомъ обѣдѣ. Подумайте только: завтра въ это время мы, можетъ быть, будемъ чи-

стенькіе и нарядные сидѣть въ хорошемъ ресторанѣ и подъ музыку ѣсть самыя вкусныя вещи. Будетъ бѣлая, блестящая скатерть, хрустальныя рюмки, цвѣты въ вазахъ...

— Я таки порядочно не люблю рестораны — вставилъ Гусыкинъ. Чего хорошаго? Когда мнѣ мамаша подаетъ дома бульончикъ, такъ я его улепетываю лучше, чѣмъ самую дорогую печенку въ самомъ лучшемъ ресторанѣ. Что-о? Конечно, въ очень дорогомъ ресторанѣ, тамъ полный порядокъ (Гусыкинъ произносилъ «парадокъ», производя, какъ ласкательное, отъ слова «парадъ»). Тамъ вамъ послѣ какъ вы курочку поглодаете, обязательно подаютъ теплой воды и даже съ мыломъ, чтобы вы могли помыть лицо и руки. Но для такого ресторана надо имѣть нахальныя деньги. А въ обыкновенномъ ресторанѣ такъ вы себѣ вытираете руки прямо въ скатерть. Это же скука! Нѣтъ, я ресторановъ не люблю. И чего хорошаго, когда вы кушаете супъ, а какой нибудь сморкачъ сидитъ рядомъ и кушаетъ, извините, компотъ.

— Чего же тутъ дурного? — недоумѣваетъ Аверченко.

— Какъ чего дурного? Притворяйтесь! Не понимаете? Такъ куда же онъ плюетъ косточки? Такъ онъ же ихъ плюетъ вамъ въ тарелку. Онъ же не жонглеръ, чтобы каждый разъ къ себѣ попадать. Нѣтъ, спаспбо! Я таки повидалъ ресторановъ на своемъ вѣку.

***

Поѣздъ подходитъ къ станціи.

Кіевъ!

Вокзалъ забитъ народомъ и весь пропахъ борщомъ. Это новопріѣзжіе въ буфетѣ пріобщаются къ культурѣ свободной страны. Хлебаютъ сосредото-

ченно, высоко разставивъ локти, не то, какъ бы паря орломъ надъ добычей, не то защищая ее остреемъ локтей отъ посторонняго посягательства. Что подѣлаешь! Разумъ говоритъ, что ты здѣсь въ полной безопасности, что борщъ твой, неотъемлемая твоя собственность, и права твои на него охраняются желѣзной нѣмецкой силой. Знаешь ты все это твердо и ясно, а вотъ подсознательное твое ничего этого не знаетъ и разставляетъ твои локти и выпучиваетъ глаза страхомъ:

— А вдругъ черезъ плечо протянется невѣдомая гнусная ложка и зачерпнетъ для нуждъ пролетаріата...

Сидимъ съ багажемъ въ буфетѣ, ждемъ вѣстей о квартирѣ.

За сосѣднимъ столомъ насыщается пухлый бородачъ съ обручальнымъ кольцомъ.

Передъ нимъ на тарелкѣ бифштексъ. Надъ нимъ испуганная физіономія лакея.

Бородачъ распекаетъ:

— Я-жъ тебѣ, мерзавецъ, русскимъ языкомъ сказалъ: бифштексъ съ жареными картофелемъ. Гдѣ же картофель? Гдѣ, я спрашиваю русскимъ языкомъ, жареный картофель?

— Виноватъ-съ, они сейчасъ поджарются-съ. Они у насъ вареный. Обождите-съ. Они сей минутъ-съ!

Бородачъ задохнулся отъ негодованія.

— "Обождите-съ"! Я буду ждать, а бифштексъ будетъ стынуть? Молчать! Нахалы!

У стѣны стоялъ молодой посыльщикъ, и, саркастически сжавъ губы, поглядывалъ на барина и на лакея. Очень выразительно поглядывалъ. Что жъ, сценка стоила, чтобы на нее поглядѣлъ «молодой пролетаріатъ». Какъ большевицкая пропаганда она, конечно, достигала лучшихъ результатовъ, чѣмъ са-

мый яркій совѣтскій агитаціонный плакатъ съ тидрой капитализма и контръ- революціи...

Въ буфетѣ было душно, а ждать, повидимому, придется еще долго. Я вышла изъ вокзала.

Веселый солнечный день догоралъ. Оживленныя улицы, народъ снующій изъ магазина въ магазинъ... И вдругъ чудная, невиданная картина, точно сонъ о забытой жизни, — такая невѣроятная, радостная и даже страшная: въ дверяхъ кондитерской стоялъ офицеръ съ погонами на плечахъ и ѣлъ пирожное! Офи-церъ, съ по-го-на-ми на плечахъ! Пирож-ное! Есть еще на свѣтѣ русскіе офицеры, которые въ яркій солнечный день могутъ стоять на улицѣ съ погонами на плечахъ. Не гдѣ нибудь въ подвалѣ, затравленный, какъ звѣрь, закутанный въ бумазейное тряпье, больной, голодный, самое существованіе котораго — трепетъ и смертная угроза для близкихъ...

И вотъ — день, солнце и народъ кругомъ, и въ рукѣ невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное!

Закрыла глаза, открыла. Нѣтъ не сонъ. Значитъ — жизнь. Но какъ все это странно...

Можетъ быть, мы такъ отвыкли, что и войти въ эту жизнь не сумѣемъ...

Первое впечатлѣніе отъ кіевскаго житья-бытья было таково:

Весь міръ (кіевскій) заваленъ, перегруженъ снѣдью. Изъ всѣхъ окопъ и дверей — паръ и чадъ. Магазины набиты окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. И по улицамъ, на фонѣ этихъ фаршированныхъ поросятъ tout Moscou et tout Petersbourg.

8.

Первое впечатлѣніе — праздникъ.

Второе — станція, вокзалъ передъ третьимъ звонкомъ.

Слишкомъ безпокойная, слишкомъ жадная суета для радостнаго праздника. Въ суетѣ этой тревога и страхъ. Никто не обдумываетъ своего положенія, не видитъ дальнѣйшихъ шатовъ. Спѣшно хватаетъ и чувствуетъ, что придется бросить...

Улица кишитъ новоприѣзжими. Группы въ самыхъ неожиданныхъ сочетаніяхъ: актриса изъ Ростова съ московскимъ земцемъ, общественная дѣятельница съ балалаечникомъ, видный придворный чинъ съ шустрымъ провинціальнымъ репортерчикомъ, сынъ раввина съ губернаторомъ, актерикъ изъ кабарэ съ двумя старыми фрейлинами... И всѣ какіе-то недоумѣвшіе, оглядываются и держатся другъ за друга. Кто бы ни былъ сосѣдъ — все-таки человѣческая рука, человѣческое плечо здѣсь, рядомъ.

Такъ, вѣроятно, дружно обнюхиваясь, страдали отъ качки, впервые встрѣтившіяся семь паръ чистыхъ съ семью парами нечистыхъ въ Ноевомъ Ковчегѣ.

На Крещатикѣ прогуливаются многіе безъ вѣсти пропавшіе. Вотъ общественный дѣятель, который мѣсяцъ тому назадъ говорилъ мнѣ, раздувая

ноздри, что мы не должны уѣзжать, что мы должны работать и умереть на своемъ посту.

— А! А какъ же вашъ постъ? — неделикатно окликаю я его.

Онъ краснѣетъ и рѣшаетъ шутить:

— Слишкомъ испостился я на своемъ посту, дорогая! Вотъ подправлюсь немножко, а тамъ посмотримъ.

А глаза бѣгаютъ и не видно, въ какую сторону они посмотрятъ...

Суетня на Крещатикѣ. И дѣловая и веселая. Посреди тротуара стоитъ всевѣдующій и вездѣсущій журналистъ Р. и, какъ хозяинъ раута, принимающій и провожающій гостей, жметъ руки направо и налѣво, киваетъ головой, особенно уважаемыхъ личностей провожаетъ нѣсколько шаговъ, другимъ только фамильярно помашетъ рукой.

— А! Наконецъ-то! — привѣтствуетъ онъ меня. — Мы васъ ждали еще на прошлой недѣлѣ.

— Кто «мы»?

— Кіевъ!

Толпа несетъ меня далѣе, и Кіевъ кричитъ вслѣдъ:

— Вечеромъ, конечно, у...

Не могу разобрать гдѣ.

— Тамъ всѣ ужинаемъ, — говоритъ голосъ рядомъ.

Это петербургскій адвокатъ, тоже незамѣтно изъ Петербурга исчезнувшій.

— Давно вы здѣсь? Отчего не зашли попрощаться, когда уѣзжали? Мы о васъ безпокоились.

Смущенно разводитъ руками.

— Какъ-то, знаете, все это такъ смѣшно устроилось...

Не успѣваю кланяться, отвѣчать на радостныя привѣтствія.

Вотъ одинъ изъ сотрудниковъ бывшаго "Русскаго Слова».

— Что здѣсь дѣлается! — говоритъ онъ. — Городъ сошелъ съ ума! Разверните газеты — лучшія столичныя имена! Въ театрахъ лучшія артистическія силы. Здѣсь «Летучая Мышь», здѣсь Собиновъ. Открывается кабаре съ Курихинымъ, театръ Миніатюръ подъ руководствомъ Озаровскаго. Отъ васъ ждутъ новыхъ пьесъ. «Кіевская Мысль» хочетъ пригласить васъ въ сотрудники. Взасъ Дорошевичъ, говорятъ, уже здѣсь. На-дняхъ ждутъ Лоло. Затѣвается новая газета, газета гетмана подъ редакторствомъ Горѣлова... Василевскій-не-Буква тоже задумалъ газету. Мы васъ отсюда не выпустимъ. Здѣсь жизнь бьетъ ключемъ.

Вспомнился Гуськинъ: «Жизнь бьетъ ключемъ по головѣ»...

— Кіевляне не могутъ опомниться, — продолжаетъ мой собесѣдникъ. — Сотрудники мѣстныхъ газетъ при видѣ чудовищныхъ для ихъ быта гонораровъ, отпускаемыхъ пріѣзжимъ гастролерамъ, хотятъ сдѣлать забастовку. Гастролеры то уѣдутъ, а мы, молъ, опять потащимъ на себѣ возъ. Рестораны ошалѣли отъ наплыва публики. Открываются все новые «уголки» и «кружки». На-дняхъ пріѣзжаетъ Евреиновъ. Можно будетъ открыть театръ новыхъ формъ. Необходима также «Бродячая Собака». Это уже вполнѣ назрѣвшая и осмысленная необходимость.

— Я вотъ здѣсь только проѣздомъ, — говорю я. — Меня везутъ въ Одессу для литературныхъ вечеровъ.

— Въ Одессу? Сейчасъ? Никакого смысла. Тамъ полная неразбериха. Нужно выждать, пока все наладится. Нѣтъ, мы васъ сейчасъ не выпустимъ.

— Кто «мы»?

— Кіевъ.

Чу-де-са!

Выплываетъ круглое знакомое лицо москвички.

— Мы уже давно здѣсь. Мы вѣдь кіевляне, — заявляетъ она съ гордостью. — У отца моего мужа былъ домъ вотъ здѣсь, на самомъ Крещатикѣ. Мы самые коренные... Здѣсь очень недурной крепъ-дешинъ. Моя портниха...

— Придете сегодня къ Машенькѣ? — покрываетъ москвичку актерскій басъ. Она здѣсь на нѣсколько гастролей. Дивное кофе... Варятъ прямо со сливками и съ копьякомъ...

Пьютъ, ѣдятъ, ѣдятъ, пьютъ, кивaютъ головами. Скорѣй! Скорѣй! Успѣть бы еще выпить, еще съѣсть и прихватить съ собой! Близокъ третій звонокъ...

Оленушка устроила мнѣ пріютъ у своихъ подругъ. Одна изъ подругъ служила, двѣ младшія еще учились въ гимназіи.

Всѣ три были влюблены въ тенора мѣстной оперы, восторженно клекотали индюшиными голосами и были очень милы.

Жили онѣ во флигелѣ, во дворѣ, а дворъ былъ весь заваленъ дровами, такъ, что нужно было знать, гдѣ проложенъ фарватеръ, чтобы, искусно лавируя, добраться до входной двери. Новички въ дровахъ застрѣвали и выбившись изъ силъ, начинали кричать. Это служило вмѣсто звонка, и дѣвочки спокойно говорили другъ другу:

— Лиля, кто-то пришелъ, слышишь? — въ дровахъ кричитъ.

Дня черезъ три послѣ моего водворенія во флигелѣ, попалъ въ западню кто-то крупный и закричалъ козлинымъ воплемъ.

Лиля пошла на выручку и привела Гуськина.

Онъ такъ за эти три дня растолстѣлъ, что я не сразу его и узнала.

— А я все считалъ, что вы на вокзалѣ и искалъ для васъ помѣщеніе.

— Вы думаете, что я четыре дня сижу въ буфетѣ?

Ему, очевидно, лѣнь было очень густо врать.

— Такъ... Приблизительно предполагалъ. Здѣсь надо хлопотать черезъ спеціальную комиссію, иначе помѣщенія не достанете. Ну, конечно, если вы сами попросите и предъявите свидѣтельство о болѣзни...

— Да вѣдь я же здорова.

— Ну, что — здорова! Когда-нибудь навѣрное корь была. Вамъ и напишутъ — «страдала корью, необходимо крытое помѣщеніе». Что-нибудь научное напишутъ. Ну, а что вы скажете за Кіевъ? Были на Крещатикѣ? И чего здѣсь такъ много блондинокъ — пусть мнѣ это объяснятъ.

— Вамъ, очевидно, не нравятся блондинки? — хихикнула одна изъ дѣвочекъ.

— Почему нѣтъ, брунетки тоже хороши, не хочу обижать, но въ блондинкахъ, есть чего-то небеснаго, а въ брунеткахъ больше земскаго. Что-о? Нужно будетъ устроить вашъ вечеръ.

— Мы уже условились насчетъ Одессы.

— Этъ! Одесса!

Онъ загадочно усмѣхнулся и ушелъ — пухлый, сонный, масляный.

Вечеромъ встрѣтила Аверченку и разсказала обо всѣхъ своихъ сомнѣніяхъ насчетъ Гуськина.

— По моему, вы не должны съ нимъ ѣхать, — рѣшилъ Аверченко. — Заплатите ему неустойку и развяжитесь съ нимъ поскорѣе. Онъ, по моему, для организаціи литературныхъ вечеровъ совсѣмъ

не пригоденъ. Онъ вамъ или дрессированную собаку выпуститъ вмѣстѣ съ вами, или самъ запоетъ.

— Вотъ и я этого боюсь. Но, какъ же быть?

— А вотъ что: посовѣтуйтесь съ моимъ импрессаріо. Это честнѣйшій малый и, кажется, опытный.

Аверченко, человѣкъ очень довѣрчивый и самъ неключительно порядочный, всѣхъ считалъ честнѣйшими малыми, и всю жизнь былъ окруженъ жуликами. Но... почему все-таки не посовѣтоваться?

— Ладно. Пришлите мнѣ вашего красавца.

Красавецъ явился на другой день и развилъ удивительный планъ.

— Прежде всего, не соглашайтесь устраивать свой вечеръ въ Кіевѣ, потому что это можетъ повредить моему предпріятію съ Аверченкой. Одинъ литературный вечеръ это интересно, но, когда литература начнетъ сыпаться, какъ горохъ, такъ публика разобьется и сборы падутъ.

— Отлично, — поняла я. — Это вы хлопочете о себѣ. А я васъ пригласила, чтобы посовѣтовать въ моихъ дѣлахъ.

— А въ вашихъ дѣлахъ, такъ я вамъ посовѣтую очень хитро. Тутъ надо поступать непремѣнно очень хитро. Вы себѣ поѣзжайте въ Одессу, пусть Гуськинъ устраиваетъ тамъ вашъ вечеръ. Пусть возьметъ залу — я вамъ скажу какую — есть такая въ Одессѣ зала, гдѣ никто ничего не слышитъ. Ну, такъ вотъ въ этой залѣ читайте себѣ одинъ вечеръ ужасно слабымъ голосомъ. Публика, разумѣется, недовольна, разумѣется, сердится. А вы дайте замѣтку въ газеты — у васъ вѣдь, навѣрное, есть знакомство въ прессѣ — дайте замѣтку, что вечеръ такая дрянь, что ходить не стоитъ. А потомъ второй вечеръ въ той же залѣ. И снова читайте себѣ еле слышно, — пусть публика скандалитъ. А тутъ я подъѣду съ Аверченкой, возьму себѣ небольшой

залъ, въ газетахъ пропечатаю огромный успѣхъ. Тогда вы позвете Гуськина и скажете: «видите себѣ, какъ вы плохо организуете дѣло. Вездѣ скандалъ. Давайте уничтожимъ договоръ». Ну, такъ повѣрьте, что при такихъ условіяхъ онъ на васъ сердиться не станетъ.

Я долго молча на него смотрѣла.

Скажите, вы все это сами выдумали?

Онъ скромно, но гордо, опустилъ глаза.

— Значитъ, вы совѣтуете мнѣ провалить мои выступленія и самой о себѣ дать въ газеты ругательныя рецензіи? Это, конечно, очень оригинально. Но, почему же за всю эту оригинальность долженъ расплачиваться несчастный Гуськинъ? Вѣдь онъ же вашъ товарищъ по ремеслу, — за что же вы хотите его разорить? Развѣ вы не понимаете, какую гадость вы ему подстраиваете?

Онъ обидѣлся.

— Ну, я уже начинаю подозрѣвать, что мой проектъ вамъ не нравится. Тогда устраняйте Гуськина какъ-нибудь иначе и заключайте договоръ со мной. Я уже сумѣю вамъ устроить шикъ.

— Ну, еще бы! Вы самый остроумный человѣкъ, какого я когда-либо встрѣчала.

Онъ улыбнулся польщенный.

— Ну, ужъ и «самый»!

9.

Заспиживаться у Оленушкиныхъ подругъ было неудобно. Пришлось хлопотать о комнатѣ. Долго, нудно, безтолково. Ожидать часами очереди, записываться, приходить каждый день справляться, распутывать путаницы.

Наконецъ, комната была получена: въ огромномъ отелѣ съ пробитой крышей, съ выбитыми окнами. Первый этажъ занимала «Летучая Мышь», второй пустой, ремонтировался, въ пустомъ третьемъ одна комната — моя.

Комната угловая — два окна въ одну сторону ловили сѣверный вѣтеръ, два въ другую — западный. Рамы были двойныя и стекла въ нихъ такъ хитро выбиты, что сразу и не догадаешься: во внутренней рамѣ нижнее лѣвое и верхнее правое.. Въ наружной — нижнее правое и верхнее лѣвое. Посмотришь, какъ будто все въ порядкѣ и цѣло и не понимаешь, отчего летаютъ письма по комнатѣ и пеньюаръ на вѣшалкѣ шевелитъ рукавами.

Обстановка — кровать, столъ, умывальникъ и два соломенныхъ кресла. Кресла эти, безумно утомленныя жизнью, любили по ночамъ расправлять свои ручки, ножки и спинки со скрипомъ и стонами.

Водворилась я въ новую свою обитель въ холодный сухой осенній день, осмотрѣлась и спросила сама не знаю почему:

— А какой здѣсь докторъ спеціалистъ по испанкѣ? У меня будетъ испанка съ осложненіемъ въ легкихъ.

Съ Гуськинымъ дѣло наладилось, вѣрнѣе разладилось отлично: получивъ авансъ изъ «Кіевской Мысли», я заплатила ему неустойку, и онъ вполнѣ успокоенный уѣхалъ въ Одессу.

— Вы вѣдь не будете работать съ Аверченкинымъ импрессаріо? — ревниво спросилъ онъ.

— Даю вамъ слово, что не буду ни съ нимъ, ни съ кѣмъ бы то ни было. Всякія выступленія ненавижу. Читала только на благотворительныхъ вечерахъ и всегда съ большимъ отвращеніемъ. Можете быть спокойны. Тѣмъ болѣе, что Аверчинкинъ импрессаріо очень мнѣ не симпатиченъ.

— Ну вы же меня мертвецки удивляете! Такой человѣкъ! Вы спросите въ Конотопѣ! Въ Конотопѣ его прямо таки обожаютъ. Дантистъ Пескинъ билъ его костью отъ ветчины. Черезъ жену. Конечно, въ характерѣ у него нѣтъ большой живности и пожалуй даже и не красивъ... такія смуглыя черты лица... Можетъ быть даже Пескинъ билъ его не черезъ жену, а по коммерческому дѣлу. А можетъ и совсѣмъ не билъ, а онъ только вретъ — пусть ему собака вѣритъ.

Разстались мы съ Гуськинымъ мирно. И онъ, уже распрощавшись, снова просунулъ голову въ дверь и спросилъ озабоченно:

— А вы кушаете сырники?

— Что? Когда? — удивилась я.

— Когда-нибудь, — отвѣчалъ Гуськинъ.

На этомъ мы и разстались.

***

Вслѣдъ за Гуськинымъ уѣхала изъ Кіева Олепушка. Она получила ангажементъ въ Ростовъ.

Передъ отъѣздомъ выразила желаніе поговорить со мною по душѣ и попросить моего совѣта въ своихъ сложныхъ дѣлахъ.

Я повела ее въ кондитерскую, и тамъ, капая слезами въ шоколадъ и битыя сливки, она разсказала мнѣ слѣдующее: въ Ростовѣ живетъ Вова, который ужасное ее любитъ. Но здѣсь, въ Кіевѣ, живетъ Дима, который также ее ужасно любитъ. Вовѣ восемнадцать лѣтъ, Димѣ девятнадцать. Оба офицеры. Любитъ она Вову, но выходить замужъ надо за Диму.

— Почему же?

Оленушка всхлипываетъ и давится пирожнымъ.

— Такъ надо! на-а-а-до!

— Подождите, Оленушка, не ревите такъ ужасно. Разскажите всю правду, если хотите знать мое мнѣніе.

— Мнѣ очень тяжело — реветъ Оленушка. Это все такъ ужасно! Такъ ужасно!

— Ну, перестаньте же, Оленушка, вы заболѣете.

— Не могу, слезы сами текутъ...

— Такъ во всякомъ случаѣ перестаньте ѣсть пирожныя — вѣдь вы уже за восьмое принимаетесь, вы заболѣете!

Оленушка безнадежно махнула рукой.

— Пусть! Я рада умереть — это все развяжетъ. Но все-таки меня уже немножко тошнитъ...

Повѣсть Оленушки, глубоко психологическая, была такова: любитъ она Вову, но Вова веселый, и ему во всемъ везетъ. А Дима очень бѣдный и какой то неудалый, и все у него плохо, и вотъ даже она его не любитъ. Поэтому надо выходить за него замужъ. Потому что нельзя, чтобы человѣку, такъ ужъ плохо было.

— Нельзя до-би-ва-а-ть!

Тутъ ревъ принялъ такіе угрожающіе размѣры, что даже старуха - хозяйка вышла изъ-за прилавка, сочувственно покачала головой и погладила Оленушку по головѣ.

— Она добрая женщина! — всхлипнула Оленушка. Дайте ей на чай!

Черезъ три дня проводили все-таки Оленушку въ Ростовъ. Поѣзда были переполнены, съ трудомъ достали ей мѣсто и снабдили письмомъ къ кассиру на Харьковской станціи, которому телеграфировали устроить ей спальное мѣсто до Ростова.

Черезъ недѣлю получили отъ Оленушки письмо, въ которомъ разсказывалась жуткая исторія, какъ офицеръ выторговалъ себѣ смерть.

Въ Харьковѣ оказалось свободнымъ только одно мѣсто въ спальномъ вагонѣ, которое кассиръ и отдалъ Оленушкѣ. Стоявшій за нею офицеръ началъ требовать, чтобы мѣсто это предоставили ему. Кассиръ убѣждалъ, показывая телеграмму, объяснялъ, что мѣсто заказано. Офицеръ ни на какіе доводы не соглашался. Онъ офицеръ, онъ сражался за отечество, онъ усталъ и хочетъ спать. Оленушка, хотя и съ большой обидой, но уступила ему свое мѣсто, а сама сѣла во второй классъ.

Ночью она была разбужена сильнымъ толчкомъ — чуть не свалилась со скамейки. Картонки и чемоданы полетѣли на полъ. Испуганные пассажиры выбѣжали на площадку. Поѣздъ стоялъ. Оленушка спрыгнула на полотно и побѣжала впередъ, гдѣ толпились и кричали люди...

Оказалось, что паровозъ врѣзался на полномъ ходу въ товарный поѣздъ. Два переднихъ вагона разбиты въ щепы. Несчастнаго офицера, такъ горячо отстаивавшаго свое право на смерть, собирали по кусочкамъ...

— Значитъ, не всегда дѣлаешь людямъ добро, когда имъ уступаешь, — писала Оленушка.

Очевидно очень мучилась, что «изъ-за нее» убили офицера.

А черезъ мѣсяцъ телеграмма:

«Помолитесь за Владиміра и Елену».

Это значило, что Оленушка вышла замужъ.

***

Я начала работать въ «Кіевской Мысли».

Время было бурное и сумбурное. Бродили нелѣпые слухи о Петлюрѣ.

— Это еще кто такой?

Одни говорили — бухгалтеръ.

Другіе — бѣглый каторжникъ.

Но бухгалтеръ или каторжникъ, во всякомъ случаѣ онъ бывшій сотрудникъ «Кіевской Мысли», сотрудникъ очень скромный, кажется, просто корректоръ...

Всѣ мы, новопріѣзжіе «работники пера», чаще всего встрѣчались въ домѣ журналиста М. С. Мильруда, чудеснаго человѣка, гдѣ сердечно принимала насъ его красивая и милая жена и трехлѣтній Алешка, который, какъ истинное газетное дитя, игралъ только въ политическія событія: въ большевиковъ, въ банды, въ бѣлыхъ и подъ конецъ въ Петлюру. Грохотали стулья, звенѣли чашки и ложки. Петлюра съ дикимъ визгомъ подползъ ко мнѣ на четверенькахъ и острыми зубами укусилъ мнѣ ногу.

Жена Мильруда общественной дѣятельностью не занималась, но когда пригнали въ Кіевъ голодныхъ солдатъ изъ нѣмецкаго плѣна, и общественныя организаціи много и мирно вопили о нашемъ долгѣ и о томъ, какъ опасно создавать кадры обиженныхъ и недовольныхъ, чуткихъ къ большевиц-

кой пренагандѣ, — она безъ всякихъ волей и политическихъ предпосылокъ стала варить щи и кашу и вмѣстѣ со своей прислугой относила обѣдъ въ бараки и кормила каждый день до двадцати человѣкъ.

Народу въ Кіевъ все прибывало.

Встрѣтила старыхъ знакомыхъ -- очень видного петербургскаго чиновника, почти министра, съ семьей. Большевики замучили и убили его брата, самъ онъ еле успѣлъ спастись. Дрожалъ отъ ненависти и рычалъ съ библейскимъ пафосомъ:

- Пока не зарѣжу на могилѣ брата собственноручно столько большевиковъ, чтобы кровь просочилась до самаго его гроба — я не успокоюсь.

Въ настоящее время онъ мирно служитъ въ Петербургѣ. Очевидно нашелъ возможность успокоиться и безъ пресловутой крови...

Выплылъ Васильевскій-не-Буква съ проектомъ новой газеты. Собирались, засѣдали, совѣщались.

Потомъ Не-Буква исчезъ.

Вообще передъ приходомъ Петлюры многіе исчезли. Въ воздухѣ почувствовалась тревога, какія то еле замѣтныя колебанія улавливались наболѣе чуткими мембранами наболѣе настороженныхъ душъ, и души эти быстро переправляли свои тѣла куда нибудь, гдѣ поспокойнѣе.

Неожиданно явился ко мнѣ высокій молодой человѣкъ въ страшномъ темно-синемъ мундирѣ — гетманскій приближенный. Онъ съ большимъ краснорѣчіемъ сталъ убѣждать меня принять участіе въ организующейся гетманской газетѣ. Говорилъ, что гетманъ это колоссъ, котораго я должна поддержать своими фельетонами.

Я подумала, что если колоссъ разсчитываетъ на такую хрупкую опору, то пожалуй его положеніе не очень надежно. Кромѣ того, составъ сотрудниковъ

намѣчался черезчуръ пестрый. Мелькали такія имена, съ которыми красоваться рядомъ было бы очень непріятно. Очевидно, колоссъ въ газетныхъ дѣлахъ разбирался плохо или просто ничѣмъ не брезговалъ.

Я обѣщала подумать.

Молодой человѣкъ, оставивъ чекъ на небывало крупный авансъ, въ случаѣ моего согласія, — удалился.

Послѣ его ухода, я, какъ Соня Мармеладова, «завернувшись въ драдедамовый платокъ», пролежала весь день на диванѣ, обдумывая предложеніе. Чекъ лежалъ на каминѣ, въ его сторону я старалась не смотрѣть.

Рано утромъ запечатала чекъ въ конвертъ и отослала его «колоссальному» представителю.

Кое кто упрекалъ меня потомъ за то, что я «изъ-лишне донкихотствую" и даже врежу товарищамъ по перу, такъ какъ своимъ поступкомъ бросаю тѣнь на газету и тѣмъ самымъ мѣшаю войти въ нее людямъ, болѣе разсудительнымъ, чѣмъ я.

Разсудительные люди во всякомъ случаѣ блаженствовали недолго.

Къ Кіеву подходилъ Петлюра.

10.

Пріѣхалъ Лоло.

Онъ, какъ кіевскій уроженецъ, оказался «Леонидомъ», а жена его, артистка Ильнарская, «жинкой Вирой».

Пріѣхали исхудавшіе, измученные. Еле выбрались изъ Москвы. Много помогъ имъ нашъ ангелъ - хранитель громадина - комиссаръ.

Послѣ вашего отъѣзда — разсказывала «жинка Вира», - приходилъ какъ песъ, выть на пожарище.

Вскорѣ дошли слухи, что комиссаръ разстрѣлянъ...

Видѣла нѣсколько разъ Дорошевича.

Жилъ Дорошевичъ въ какой-то огромной квартирѣ, хворалъ, очень осунулся, постарѣлъ и, видимо нестерпимо тосковалъ по своей женѣ, оставшейся въ Петербургѣ — хорошенькой, легкомысленной актрисѣ.

Дорошевичъ ходилъ большими шагами, вдоль и поперекъ своего огромнаго кабинета и говорилъ дѣланно - равнодушнымъ голосомъ:

Да, да, Леля должна пріѣхать дней черезъ десять...

Всегда эти «десять дней». Они тянулись до самой его смерти. Онъ, кажется, такъ и не узналъ, что его Леля давно вышла замужъ за обшитаго телячьей

кожел «роскошнаго мужчину» — большевицкаго комиссара.

Онъ, вѣроятно, самъ поѣхалъ бы за ней въ Петербургъ, если бы не боялся большевиковъ до ужаса, до судорогъ.

Онъ умеръ въ больницѣ, одинокій, во власти большевиковъ.

А въ эти кіевскіе дни онъ, худой, длинный, ослабѣвшій отъ болѣзни, все шагалъ по своему кабинету, шагалъ, словно изъ послѣднихъ силъ шелъ навстрѣчу горькой своей смерти.

Работая въ «Русскомъ Словѣ», я мало встрѣчалась съ Дорошевичемъ. Я жила въ Петербургѣ, редакція была въ Москвѣ. Но два раза въ моей жизни онъ «оглянулся на меня».

Въ первый разъ — въ самомъ началѣ моей газетной работы. Редакція очень хотѣла засадить меня на злободневный фельетонъ. Тогда была мода на такіе «злободневные фельетоны», бичующіе «отцовъ города» за антисанитарное состояніе извозчичьихъ дворовъ и проливающіе слезу надъ «тяжелымъ положеніемъ современной прачки». Злободневный фельетонъ могъ касаться и политики, но только въ самыхъ легкихъ и безобидныхъ тонахъ, чтобы редактору не влетѣло отъ цензора.

И вотъ тогда Дорошевичъ заступился за меня.

— Оставьте ее въ покоѣ. Пусть пишетъ о чемъ хочетъ и какъ хочетъ.

И прибавилъ милыя слова:

— Нельзя на арабскомъ копѣ воду возить.

Второй разъ оглянулся онъ на меня въ очень тяжелый и сложный моментъ моей жизни.

Въ такіе тяжелые и сложные моменты человѣкъ всегда остается одинъ. Самые близкіе друзья считаютъ, что «недикатно лѣзть, когда конечно, не до нихъ».

Въ результатѣ, отъ этихъ деликатностей получается впечатлѣніе полнѣйшаго равнодушія.

— Почему всѣ отвернулись отъ меня? Развѣ меня считаютъ виноватымъ?

Потомъ оказывается, что всѣ были сердцемъ съ вами, всѣ болѣли душой, и всѣ не смѣли подойти.

Но вотъ Дорошевичъ рѣшилъ иначе. Пріѣхалъ изъ Москвы. Совершенно неожиданно.

— Жена мнѣ написала, что вы, повидимому, очень удручены. Я рѣшилъ непремѣнно повидать васъ. Сегодня вечеромъ уѣду, такъ что давайте говорить. Скверно, что вы такъ изводитесь.

Онъ говорилъ долго, сердечно, ласково, предлагалъ даже драться на дуэли, если я найду это для себя полезнымъ.

— Только этого не хватало для пущаго трезвона!

Взялъ съ меня слово, что если нужна будетъ помощь, совѣтъ, дружба, чтобы я немедленно телеграфировала ему въ Москву, и онъ сейчасъ же пріѣдетъ.

Я знала, что не позову, и даже не вполнѣ вѣрила, что онъ пріѣдетъ, но ласковыя слова очень утѣшили и поддержали меня, — пробили щелочку въ черной стѣнѣ.

Этотъ неожиданный рыцарскій жестъ такъ не вязался съ его репутаціей самовлюбленнаго, самоудовлетвореннаго и далеко не сентиментальнаго человѣка, что очень удивилъ и растрогалъ меня. И такъ больно было видѣть, какъ онъ еще хорохорился передъ судьбой, шагалъ, говорилъ:

— Черезъ десять дней должна пріѣхать Леля. Во всякомъ случаѣ, паденіе большевиковъ, это вопросъ нѣсколькихъ недѣль, если не нѣсколькихъ

дней. Можетъ быть, ей даже не стоитъ выѣзжать. Сейчасъ ѣхать не безопасно. Какія-то банды...

«Банды» былъ Петлюра.

*
**

Предчувствіе мое относительно испанки оправдалось блестяще.

Заболѣла ночью. Сразу ураганомъ налетѣлъ сорокаградусный жаръ! Въ полубреду помнила одно: въ одиннадцать часовъ утра актриса «Летучей Мыши» Алексѣева - Месхіева придетъ за моими пѣсенками, которыя собирается спѣть въ концертѣ. И всю ночь безъ конца стучала она въ дверь, и я вставала и впускала ее и тутъ же сразу понимала, что все это бредъ, никто не стучитъ, и я лежу въ постели. И вотъ опять и опять стучитъ она въ дверь. Я съ трудомъ открываю глаза. Свѣтло. Звонкій голосъ кричитъ:

— Вы еще спите? Такъ я зайду завтра.

И быстрые шаги, удаляющіеся. Завтра! А если я не смогу встать, такъ до завтра никто и не узнаетъ, что я заболѣла? Прислуги въ гостиницѣ не было, и никто не собирался зайти.

Въ ужасѣ вскочила я съ постели и забарабанила въ дверь.

— Я больна, — кричала я. — Вернитесь!

Она услышала мой зовъ. Черезъ полчаса прибѣжали испуганные друзья, притащили самое необходимое для больного человѣка — букетъ хризантемъ.

— Ну, теперь дѣло пойдетъ на ладъ.

Извѣстіе о моей болѣзни попало въ газеты.

И такъ какъ людямъ, собственно говоря, дѣлать было нечего, большинство пережидало «послѣдніе дни конвульсій большевизма», не принимаясь

за какое-либо опредѣленное занятіе, то моя бѣда нашла самый горячій откликъ.

Съ утра до ночи комната моя оказалась набитой народомъ. Было, вѣроятно, превесело. Приносили цвѣты, конфеты, которыя сами же и съѣдали, болтали, курили, любящія пары назначали другъ другу рандэ-ву на одномъ изъ подоконниковъ, дѣлились театральными и политическими сплетнями. Часто появлялись незнакомыя мнѣ личности, по улыбались и угощались совсѣмъ такъ же, какъ и знакомыя. Я чувствовала себя временами даже лишней въ этой веселой компаніи. Къ счастью, на меня вскорѣ совсѣмъ перестали обращать вниманіе.

— Можетъ быть, можно какъ-нибудь ихъ всѣхъ выгнать? — робко жаловалась я ухаживавшей за мной В. Н. Ильинской.

— Что вы, голубчикъ, они обидятся. Неловко. Ужъ вы потерпите. Вотъ поправитесь, тогда и отдохнете.

Помню, какъ-то вечеромъ, когда гости побѣжали обѣдать, осталась около меня только В. Н. и какой-то неизвѣстный субъектъ.

Субъектъ монотонно бубнилъ:

- Имѣю имѣніе за Варшавою, конечно, небольшое...

— Имѣю доходъ съ имѣнія, конечно, небольшой...

Снится это мнѣ или не снится?

— Имѣю луга въ имѣніи, конечно, небольшіе...

— Имѣю тетку въ Варшавѣ...

- Конечно, небольшую — неожиданно для себя перебиваю я. — А что если, для разнообразія послать за докторомъ? Молодой человѣкъ, вы, повидимому, такой любезный — приведите ко мнѣ доктора, конечно, небольшого...

Онъ это прибавилъ, или я сама? Ничего не понимаю. Надѣюсь, что онъ.

Пришелъ докторъ. Долго удивлялся на мой обиходъ.

— У васъ здѣсь что же — балъ былъ?

— Нѣтъ, просто такъ, навѣщаютъ сочувствующіе.

— Всѣхъ вонъ! Гнать всѣхъ вонъ! И цвѣты вонъ! У васъ воспаленіе легкихъ.

Я торжествовала.

— Чему же вы радуетесь? — даже испугался докторъ.

— Я предсказала, я предсказала!

Онъ, кажется, подумалъ, что у меня бредъ, и радости моей раздѣлить не согласился.

***

Когда я поправилась и вышла въ первый разъ — Кіевъ былъ весь ледяной. Голый ледъ и вѣтеръ. По улицамъ съ трудомъ передвигались рѣдкіе пѣшеходы. Падали, какъ кегли, сшибая съ ногъ сосѣдей.

Помню, заглядывала я иногда въ какую-то редакцію. Стояла редакція посреди ледяной горы. Снизу итти — все равно не дойдешь: десять шаговъ сдѣлаешь — и сползаешь внизъ. Сверху итти — раскатишься и прокатишь мимо. Такой удивительной гололедицы я никогда не видала.

Настроеніе въ городѣ сильно измѣнилось. Погасло. Было не праздничное. Безпокойно бѣгали глаза, прислушивались уши... Многіе уѣхали, незамѣтно когда, неизвѣстно куда. Стали поговаривать объ Одессѣ.

Тамъ сейчасъ какъ будто дѣла налаживаются. А сюда надвигаются банды. Петлюра что ли...

«Кіевская Мысль» Петлюры не боялась. Пет-

люра былъ когда-то ея сотрудникомъ... Конечно, онъ вспомнитъ объ этомъ...

Онъ, дѣйствительно, вспомнилъ. Первымъ его распоряженіемъ было — закрыть «Кіевскую Мысль». Задолго до того, какъ вошелъ въ городъ, прислалъ спеціальную команду.

Газета была очень озадачена и даже пожалуй сконфужена.

Но закрыться пришлось.

11.

Настала настоящая зима, съ морозомъ, со снѣгомъ.

Докторъ сказалъ что послѣ воспаленія легкихъ жить въ нетопленной комнатѣ съ разбитыми окнами можетъ быть и очень смѣшно, но для здоровья не полезно.

Тогда друзья мои разыскали мнѣ пріютъ у почтенной дамы, содержавшей пансіонъ для гимназистокъ. Живо собрали мои вещи и перевезли и ихъ и меня. Работали самоотверженно. Помню, какъ В. Н. Ильинская, взявшая на себя мелочи моего быта, свалила въ картонку кружевное платье, шелковое бѣлье и откупоренную бутылку чернилъ. Вѣрочка Чарова (изъ московскаго театра Корша) перевезла двѣнадцать засохшихъ букетовъ, дорогихъ по воспоминаніямъ. Тамарочка Оксинская (изъ Сабуровскаго театра) собрала всѣ визитныя карточки, валявшіяся на подоконникахъ. Алексѣева - Мессіеві тщательно уложила остатки конфетъ и пустые флаконы. Такъ дѣловито и живо устроили мой переѣздъ. Забыли только сундукъ и всѣ платья въ шкафу. Но мелочи всѣ были налицо, — а вѣдь это самое главное, потому что чаще всего забывается.

Новая моя комната была удивительная. Сдавшая мнѣ ее милая дама очевидно обставила ее всѣми предметами, скрашивавшими ея жизненный путь.

Здѣсь были какіе то рога, прутья, шерстяныя шишки, восемь или десять маленькихъ столиковъ съ толстой тяжелой мраморной доской подпертой растопыренными хрупкими палочками. На столики эти ничего нельзя было ставить. Можно было только издали удивляться чуду человѣческаго разума: сумѣть укрѣпить такую тяжесть такой ерундой. Иногда эти столики валились сами собой. Сидишь тихо и вдругъ слышишь на другомъ концѣ комнаты — вздохнетъ, закачается и — на полъ.

Кромѣ ерунды былъ въ комнатѣ рояль, который за рогами и шишками мы не сразу и различили. Стоялъ онъ такъ неудобно, что играющій долженъ былъ пролѣзть между рогами и этажеркой и сидѣть окруженный тремя столиками.

Рѣшили немедленно устроить комфортъ и уютъ: лишнюю дверь завѣсить талью, рояль передвинуть къ другой стѣнѣ, портреты тетокъ перевѣсить за шкафъ...

Сказано — сдѣлано. Загрохотали столики, задребезжало что то стеклянное, одна изъ тетокъ сама собой сорвалась со стѣны.

— Господи! Что же это! Услышитъ хозяйка — выгонитъ меня.

Явившаяся поздравлять съ новосельемъ отъ группы «курсистокъ» бѣлокурая кудрявая Лиля, предложила свои услуги, моментально разбила вазочку съ шерстяными шишками и въ ужасѣ упала за диванъ, прямо на второй теткинъ портретъ, заботливо снятый, чтобы не разбить.

Трескъ, ревъ, визгъ.

— Пойте что нибудь, чтобы не было слышно этого грохота.

Приступили къ самому важному — двинули рояль.

— Подождите, — крикнула я. — На роялѣ

бронзовая собачка на малахитовой подставкѣ, — — очевидно хозяйка ею дорожитъ. Надо ее сначала снять. Не суйтесь — я сама, вы только все колотите.

Я осторожно подняла прямо за собачку — какая тяжелая! Вдругъ — что это? Отчего такой грохотъ? Отчего вдругъ стало легко? — Въ рукахъ у меня одна собачка. Малахитовая подставка, разбитая вдребезги, у моихъ ногъ. Ну кто же могъ знать, что она не приклеена!

— Ну теперь навѣрное прибѣжитъ хозяйка, — въ ужасѣ шепчетъ Лиля.

— Вы сами виноваты. Отчего вы не лѣли? Я же васъ просила. Вѣдь видѣли, что я припялась за собачку, ну и затянули бы что нибудь хоровое. Двигайте рояль, а то мы до ночи не кончимъ.

Двинули, покатили, завернули хвостъ, поставили.

— Чудесно. Вотъ здѣсь будетъ удобно. Алексѣева-Месхіева, я вамъ здѣсь новую пѣсенку сочиню.

Живо пододвинула стулъ, взяла аккорды — что за ужасъ! Рояль пересталъ играть. Пододвинули еще немножко, поколотили по крышкѣ, молчитъ и кончено.

Стукъ въ дверь.

— Молчите!

— Пойте!

Все равно надо отворить...

Входитъ не «она». Входитъ знакомый инженеръ, поздравляетъ съ новосельемъ.

— Отчего у васъ у всѣхъ такія трагическія лица?

Разсказываемъ все. И главный ужасъ — рояль.

— Рояль? Ну я вамъ это живо налажу. Прежде всего надо вытащить клавиши.

— Милый, васъ самъ Богъ послалъ.

Подсѣлъ, что-то покрутилъ и выдвинулъ.

— Вотъ, а теперь назадъ.

Клавиши назадъ не влѣзали.

Инженеръ притихъ, вынулъ платокъ и вытеръ лобъ.

Страшная догадка озарила меня.

— Стойте! Смотрите мнѣ прямо въ глаза и отвѣчайте всю правду. Вы раньше когда нибудь клавиши выгаскивали?

— Да!

— А назадъ онѣ влѣзали?

Молчаніе.

— Отвѣчайте правду! влѣзали?

— Н-нѣтъ. Ни-ко-гда.

***

Унылые будничные дни.

Бурлившая жизнь, безпокойная и шумная — осѣла.

Возвращаться домой нельзя. Съ сѣвера Кіевъ отрѣзанъ. Кто успѣлъ — уже уѣхалъ. Но всѣ куда то собираются. Всѣ чувствуютъ, что оставаться надолго не придется.

Какъ то при выходѣ изъ театра въ вестибюлѣ разговаривали мы съ ясновидящимъ Арманомъ Дюкло. Къ нему подошелъ дежурившій у двери солдатъ и спросилъ:

— Скажите мнѣ, господинъ Дюкло, скоро ли Петлюра придетъ?

Арманъ сдвинулъ брови, закрылъ глаза.

— Петлюра... Петлюра... черезъ три дня.

Черезъ три дня Петлюра вошелъ въ городъ.

Удивительное явленіе былъ этотъ Арманъ Дюкло. Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Москвы я была нѣсколько разъ на его сеансахъ. Онъ отвѣчалъ очень вѣрно на задаваемые ему вопросы.

Потомъ, когда мы познакомились, онъ признавался, что обыкновенно приступалъ къ сеансамъ съ различныхъ подготовленныхъ трюковъ, но потомъ начиналъ, нервничать, очевидно, впадалъ въ трансъ и, самъ не зная почему и какъ, давалъ тотъ или иной отвѣтъ.

Это былъ совсѣмъ молодой, лѣтъ двадцати, не больше, очень блѣдный и худой мальчикъ, съ красивымъ, утомленнымъ лицомъ. Никогда не разсказывалъ о своемъ происхожденіи, недурно говорилъ по французски.

— Я жилъ много-много лѣтъ тому назадъ. Меня звали Каліостро.

Но вралъ онъ лѣниво и не охотно.

Кажется, былъ онъ просто еврейскимъ мальчикомъ изъ Одессы. Импрессаріо его былъ какой то очень бойкій студентъ. Самъ Арманъ тихій, полусонный, не былъ дѣловымъ человѣкомъ и очень равнодушно относился къ своимъ успѣхамъ.

Въ Москвѣ имъ чрезычайно заинтересовался Ленинъ и два раза вызывалъ его въ Кремль для уясненія своей судьбы. Когда мы его разспрашивали объ этихъ сеансахъ. онъ отвѣчалъ уклончиво:

— Не помню. Помню только, что у самого Ленина до конца успѣхъ. У другихъ различно.

Импрессаріо его разсказывалъ, что трусилъ безумно, потому что видѣлъ, какъ на Армана «накатило» и тогда онъ уже не отдаетъ себѣ отчета съ кѣмъ имѣетъ дѣло.

— Слава Богу, пронесло благополучно.

Но пронесло ненадолго. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Арманъ былъ разстрѣлянъ.

*
**

Наступилъ послѣдній актъ кіевской драмы.

Петлюра входилъ въ городъ. Начались аресты и обыски.

Ночью никто не ложился. Сидѣли вмѣстѣ, обыкновенно въ квартирѣ Мильруда. Чтобы не заснуть, играли въ карты, чутко прислушивались, не идутъ ли? Если стукъ или звонокъ — прятали карты и деньги подъ столъ. Къ нашей квартирѣ въ эти дни примкнулъ и Арманъ Дюкло.

— Нѣтъ, я не могу играть въ карты. Вѣдь я же знаю, каждую карту впередъ, — объявилъ онъ.

И проигрывалъ три ночи подрядъ.

- - Странно. Я былъ еще маленькимъ ребенкомъ, и тогда уже никто не рѣшался со мной играть...

— Да кто же съ маленькими дѣтьми въ карты играетъ? — отвѣчали ему.

Тихій, полусонный, онъ не спорилъ и не смѣялся. Странный былъ мальчикъ.

— Я всегда полусплю. И этотъ сонъ такъ истощаетъ меня. Онъ выпиваетъ всѣ мои силы и всю мою кровь.

Блѣдное, блѣдное было его красивое лицо. Онъ говорилъ правду.

На улицахъ появились петлюровскіе патрули. Необыкновенно вѣжливые джентльмэны въ солдатскихъ шинеляхъ щелкали каблуками и предупреждали по какой улицѣ ходить не слѣдуетъ, чтобы не попасть въ облаву.

— Кто же вы такіе? — спрашивали мы.

— А мы тѣ самые, що казали «банда», — съ гордымъ смиреніемъ отвѣчали джентльмэны.

Опустѣли, закрылись магазины. Разбѣжались, попрятались люди. Городъ все больше и больше наполнялся солдатскими шинелями.

У Мильруда былъ обыскъ. Разсказывали, что маленькій Алешка выбѣжалъ изъ дѣтской со свирѣпымъ воплемъ:

— Я Петлюра! Вотъ я вамъ всѣмъ задамъ!

Патруль почтительно удалился.

*
* *

Состоялся торжественный парадъ. Драматургъ Винниченко раклапивался передъ толпой. За свои драмы онъ такихъ овацій не получалъ...

Молодцы въ новепькихъ жупанахъ нѣмецкаго сукна скакали на сытыхъ сильныхъ конякъ.

«Москали» посмѣивались:

— Хай жіе Украина, ажъ съ Кіева до Берлина.

Погуляли, посмотрѣли. Начали укладывать чемоданишки. Пора.

За городомъ забухали пушки.

— Гдѣ?

— Какъ будто за Лысой Горой. Какъ будто большевики подходятъ.

— Ну теперь пойдетъ надолго. У васъ есть пропускъ?

— Въ Одессу! Въ Одессу!

12.

Пошла попрощаться съ Лаврой.

— Богъ знаетъ, когда еще попаду сюда!

Да, Богъ знаетъ...

Пусто было въ этомъ сердцѣ богомольной Руси. Не бродили странники съ котомочкой, странницы съ узелкомъ на посошкѣ. Озабоченные ходили монахи.

Спустилась въ пещеры. Вспомнила, какъ въ первый разъ была здѣсь много лѣтъ тому назадъ съ матерью, сестрами и старой нянюшкой. Пестрая «всякая» жизнь лежитъ между мной и той длинноногой дѣвочкой съ бѣлокурыми косичками, какою я была тогда. Но чувство благоговѣнія и страха осталось то же. И такъ же крещусь и вздыхаю отъ той же прекрасной неизъяснимой печали, исходящей отъ вѣковыхъ сводовъ, древней русской молитвой овѣянныхъ, столькими, ахъ, столькими очами оплаканныхъ...

Старый монахъ продавалъ крестики, четки и образокъ Богоматери, чудесно вклеенный въ плоскую бутылочку черезъ узкое горлышко. И двѣ витыя свѣчечки и аналой съ крошечной иконкой на немъ, тоже вклеены. На вѣнчикѣ надпись: «радуйся невѣсто неневѣстная». Чудесный образокъ. И сейчасъ, уцѣлѣвшая во многихъ бѣженскихъ странствіяхъ, стоитъ плоская бутылочка, чудо стараго монаха, на моемъ парижскомъ каминѣ...

Зашла попрощаться и въ соборъ Св. Владиміра. Видѣла передъ иконой Св. Ирины маленькую черную старушенку, на колѣняхъ, ступни въ стоптанныхъ башмаченкахъ поджаты носками внутрь, умиленно и робко. Плакала старушенка и строго смотрѣла на нее увитая жемчугами, окованная золотомъ, пышная византійская Царица.

*
**

Выѣхали изъ Кіева поздно вечеромъ. Пушки бухали гдѣ-то совсѣмъ близко.

На вокзалѣ давка невообразимая. Какіе-то военскіе эшелоны забили всѣ пути. Не то они пріѣзжали, не то ихъ куда то отправлялн. Они, кажется, и сами не знали.

Лица у всѣхъ растерянныя, озлобленныя и усталыя.

Съ трудомъ добираемся до вагона, обозначеннаго на нашемъ пропускѣ. Вагонъ третьяго класса, какой-то трехъэтажный. Туда же вваливаютъ и наши вещи.

Долго стоимъ на станціи. Всѣ сроки отхода давно прошли. Мы на второмъ пути. Съ двухъ сторонъ поѣзда съ солдатами. Слышны крики, выстрѣлы. Въ просвѣтѣ между вагонами видно, какъ бѣгутъ люди и въ паникѣ мечутся.

Иногда въ вагонъ къ намъ приносятъ новости:

— Сейчасъ будутъ насъ выгружать снова на станцію. Весь поѣздъ пойдетъ подъ солдатъ.

— Дальше одиннадцатой версты ѣхать вообще нельзя. Тамъ разъѣздъ занятъ большевиками.

— Только что вернулся обстрѣлянный поѣздъ. Есть убитые и раненые.

Убитые! Раненые! Какъ мы привыкли къ этимъ словамъ. Никого они не смущаютъ и ни у кого не вызываютъ возгласа — «Какой ужасъ! Какое горе!»

Всѣ думаютъ просто, въ условіяхъ новаго нашего быта: «раненыхъ слѣдуетъ перевязать, убитыхъ надо бы выгрузить».

Раненые и убитые — это слова нашего быта. И сами мы, если не на разъѣздѣ, то немножко позже, вполнѣ можемъ стать и ранеными и убитыми.

У кого-то украли чайникъ. И вопросъ этотъ обсуждается съ такимъ же интересомъ (если не съ большимъ), какъ и вопросъ о томъ, что, молъ, проскочимъ мы черезъ одиннадцатую версту или насъ отсюда даже не выпустятъ, потому что поѣздная прислуга отказывается вести поѣздъ.

И вдругъ сорвавшаяся съ третьяго этажа скамеекъ картонка треснула кого-то по головѣ. Это былъ радостный знакъ. Это значило, что паровозъ прицѣпили, и онъ дернулъ.

Мы поѣхали.

Останавливались много разъ. На темныхъ станціяхъ и въ глухомъ полѣ, по которому бѣгали фонарики, гдѣ кричали и стрѣляли.

Въ дверяхъ вагона появлялись солдаты со штыками:

— Офицеры! Выходи на площадку!

Въ нашемъ вагонѣ офицеровъ не было.

Помню бѣжали какіе-то люди мимо оконъ по полотну. Потомъ запыхавшіеся солдаты ворвались въ вагонъ и тыкали штыками подъ скамейки.

И никто не зналъ, что дѣлается и никто ничего не спрашивалъ. Сидѣли тихо, закрывъ глаза, будто подремывая, дѣлая видъ, что считаютъ все происходящее самой нормальной обстановкой для желѣзнодорожной поѣздки.

Въ Одессу пріѣхали ночью. Пріятный сюрпризъ: насъ заперли въ вокзалѣ и раньше утра выпустить не соглашались.

Что подѣлаешь!

Сложили вещи на полу сами сѣли сверху и, право, чувствовали себя очень уютно. Никто въ насъ не стрѣлялъ, никто не обыскивалъ — чего еще человѣку нужно?

Подъ утро замаячила передо мною зыбкая тѣнь съ желтымъ несессеромъ въ тонкой рукѣ.

— Арманъ Дюкло?

— Да.

Онъ тоже пріѣхалъ съ нашимъ поѣздомъ. Сѣлъ около меня и сталъ разсказывать. Какіе-то необычайно важные документы везетъ онъ въ своемъ несессерѣ. Ему уже предлагали за нихъ милліонъ долларовъ, но онъ не выпуститъ ихъ изъ рукъ.

— А по моему, выпускайте.

— Не могу.

— Почему?

— Самъ не знаю почему. Но это такъ истощаетъ меня — всю жизнь держать въ рукахъ этотъ несессеръ.

Я задремала, а когда проснулась, то Армана уже не было. Онъ ушелъ, забывъ у моихъ ногъ свое сокровище.

Утромъ открыли вокзалъ и выпустили насъ въ городъ. Когда носильщики укладывали на извозчиковъ нашъ багажъ, несессеръ Армана, оказавшійся безъ замка, раскрылся и изъ него вывалился флаконъ «Рю де ля Пэ» и пилочка для ногтей. Больше въ немъ абсолютно ничего не было.

Такъ какъ Арманъ долго не появлялся, то мы дали объявленіе въ газету:

«Просимъ ясновидящаго Дюкло угадать, гдѣ его несессеръ».

Затѣмъ имя и адресъ.

*
**

Начались одесскіе дни.

Опять замелькали тѣ же лица, опять замололи ту же ерунду.

Тѣ, которыхъ мы считали вернувшимися въ Москву, оказались здѣсь. Которые должны были ѣхать въ Одессу, оказались давно въ Москвѣ.

И никто въ точности ничего ни о комъ не зналъ.

Правилъ Одессой молодой сѣроглазый губернаторъ Гришинъ - Алмазовъ, о которомъ тоже никто въ точности ничего не зналъ. Какъ случилось, что онъ оказался губернаторомъ, кажется, онъ и самъ не понималъ. Такъ - маленькій Наполеонъ, у котораго тоже "судьба оказалась значительнѣе его личности".

Гришинъ - Алмазовъ энергичный, веселый, сильный, очень подчеркивающій эту свою энергичность, щеголявшій ею, любилъ литературу и театръ, былъ по слухамъ, самъ когда-то актеромъ.

Онъ сдѣлалъ мнѣ визитъ и очень любезно предоставилъ помѣщеніе въ Лондонской гостиницѣ. Чудесную комнату номеръ шестнадцатый, гдѣ во всѣхъ углахъ были свалены кипы «Общаго Дѣла» — до меня здѣсь останавливался Бурцевъ.

Гришинъ - Алмазовъ любилъ помпу и когда заѣзжалъ меня навѣстить, въ коридорѣ оставлялъ цѣлую свиту и у дверей двухъ конвойныхъ.

Собесѣдникомъ онъ былъ милымъ и пріятнымъ. Любилъ говорить фразами одного персонажа изъ «Леона Дрея» Юшкевича.

— Сегодня очень холодно. Подчеркиваю, «очень».

— Удобно ли вамъ въ этой комнатѣ? Подчеркиваю «вамъ».

— Есть у васъ книги для чтенія? Подчеркиваю «для».

Рекомендовалъ коменданту гостиницы, бородатому полковнику, гулявшему цѣлые дни съ двумя чудесными бѣлыми шпицами, заботиться обо мнѣ.

Словомъ — былъ чрезвычайно любезенъ.

Время для него было трудное.

— «Луспицін тревожны» — такова было модная одесская фраза, и она хорошо опредѣляла положеніе.

Пока подходили большевики, горожанъ исподволь грабили бандиты, ютившіеся въ заброшенныхъ каменоломняхъ, образовавшихъ цѣлыя катакомбы подъ городомъ. Гришину - Алмазову пришлось даже вступить въ переговоры съ однимъ изъ предводителей этихъ разбойниковъ, знаменитымъ Мишкой-Япончикомъ. Не знаю, договорились ли они до чего нибудь, но самъ Гришинъ могъ ѣздить по городу только во весь духъ на своемъ автомобилѣ, такъ какъ ему обѣщана была «пуля на поворотѣ улицы».

Горожане все-таки выѣзжали по вечерамъ изъ своихъ нетопленныхъ квартиръ. Уходили въ клубы, въ театры, попугать другъ друга страшными слухами. Для возвращенія по домамъ собирались группами и приглашали охрану — человѣкъ пять студентовъ, вооруженныхъ чѣмъ Богъ послалъ. Кольца засовывали за щеку, часы въ башмакъ. Помогало мало.

— Онъ, подлецъ, слушаетъ, гдѣ тикаетъ — туда и лѣзетъ. Я говорю — это сердце отъ страха... Да развѣ они честному человѣку повѣрятъ!

Бандиты останавливали извозчиковъ выпрягали лошадей и уводили ихъ къ себѣ въ катакомбы.

Но — удивишь ли насъ этими страхами? Театры, клубы, рестораны всю ночь были полны. Называли легендарныя цифры проигрышей.

Утромъ, одурманенные виномъ, азартомъ и си-

гарнымъ дымомъ, выходили изъ клубовъ банкиры и сахарозаводчики, моргали на солнце воспаленными вѣками. И долго смотрѣли имъ вслѣдъ тяжелыми голодными глазами темные типы изъ Молдаванки, подбирающіе у подъѣздовъ огрызки, объѣдки, роющіеся въ орѣховой скорлупѣ и колбасныхъ шкуркахъ.

13.

«Быстро мчатся кони Феба,
Подъ уклонъ...»

Шли, шли одесскія дни и вдругъ побѣжали быстро-быстро, обгоняя другъ друга.

Открывались и закрывались клубы, театрики, кабарэ.

Явились ко мнѣ неизвѣстные мнѣ господа среднихъ лѣтъ и предложили «дать свое имя» какому-то «начинанію». Глубоко художественному. Съ горячимъ ужиномъ и карточной игрой.

Причемъ же я здѣсь?

— А вы будете считаться хозяйкой и получать ежемѣсячный гонораръ.

— Я же ничего не понимаю ни въ карточной игрѣ, ни въ обѣдахъ. Вы, вѣрно, что-нибудь спутали.

Они потоптались и повысили мнѣ гонораръ.

Очевидно, было, что мы совсѣмъ другъ друга не понимали.

Потомъ они, кажется, нашли хозяйку въ лицѣ одной популярной пѣвицы, и успокоились. То есть — закрывались, давали взятку, открывались, закрывались, давали взятку и т. д.

— Ваша полиція взятки беретъ? — спрашивала я у Гришина - Алмазова.

— Ну, что-жъ! Эти деньги идутъ исключительно на благотворительность. Подчеркиваю «идутъ» — бодро отвѣчалъ онъ.

⁂

Одесскій бытъ сначала очень веселилъ насъ, бѣженцевъ.

— Не городъ, а сплошной анекдотъ!

Звонитъ ко мнѣ, много разъ, одна одесская артистка. Ей нужны мои пѣсенки. Очень проситъ зайти, такъ какъ у нея есть рояль.

— Ну, хорошо. Я приду къ вамъ завтра, часовъ въ пять.

Вздохъ въ телефонной трубкѣ.

— А, можетъ быть, можете въ шесть? Дѣло въ томъ, что мы всегда въ пять часовъ пьемъ чай...

— А вы увѣрены, что къ шести уже кончите?

Иногда вечеромъ собирались почитать вслухъ газетную хронику. Не жалѣли огня и красокъ одесскіе хроникеры. Это у нихъ были шедевры въ этомъ родѣ:

«Балерина танцовала великолѣпно, чего нельзя сказать о декораціяхъ».

«Когда шла «Гроза» Островскаго съ Рощиной-Инсаровой въ заглавной роли...»

«Артистъ чудесно исполнилъ Элегію Эрнста, и скрипка его рыдала, хотя онъ былъ въ простомъ пиджакѣ».

«На пристань пріѣхалъ пароходъ».

«Въ понедѣльникъ вечеромъ, дочь коммерсанта, Рая Липшицъ, сломала свою ногу подъ велосипедомъ».

Но скоро одесскій бытъ надоѣлъ. Жить въ анекдотѣ вѣдь не весело, скорѣе трагично.

Но вотъ маленькій просвѣтъ. Пріѣхалъ въ Одессу нашъ милый редакторъ Ф. И. Благовъ и сталъ скликать сотрудниковъ «Русскаго Слова». «Русское Слово» начнетъ выходить въ Одессѣ. Сотрудники собрались въ достаточномъ количествѣ, и дѣло стало быстро налаживаться.

Къ веснѣ появился въ городѣ поэтъ Максъ Волошинъ. Онъ былъ въ ту пору одержимъ стихописьмовствомъ. Всюду можно было видѣть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на нихъ круглый беретъ, плащъ-разлетайка, короткіе штаны и гетры. Онъ ходилъ по разнымъ правительственнымъ учрежденіямъ и нужнымъ людямъ и читалъ стихи. Читалъ онъ ихъ не безъ толку. Стихами своими онъ, какъ ключомъ, отворялъ нужные ему ходы и хлопоталъ въ помощь ближнему. Иногда войдетъ въ какую-нибудь канцелярію и пока тамъ надумаютъ доложить о немъ по начальству, начнетъ декламировать. Стихи густые, могучіе, о Россіи, о самозванцѣ, съ историческимъ разбѣгомъ, съ пророческимъ уклономъ. Дѣвицы-дактило окружали его восторженной толпой, слушали, ахали и отъ блаженнаго ужаса, у нихъ пищало въ носкахъ. Потомъ трещали машинки — Максъ Волошинъ диктовалъ свои поэмы. Выглядывало изъ-за двери начальствующее лицо, заинтересовывалось предметомъ и уводило Макса къ себѣ. Уводило и черезъ запертую дверь доносилось густое мѣрное гудѣніе декламаціи.

Зашелъ онъ и ко мнѣ .

Прочелъ двѣ поэмы и сказалъ, что немедленно надо выручать поэтессу Кузьмину - Караваеву, которую арестовали (кажется, въ Феодосіи), по чьему-то оговору и могутъ разстрѣлять.

— Вы знакомы съ Гришинымъ - Алмазовымъ, просите его скорѣе.

Кузьмину - Караваеву я немножко знала и понимала вздорность навѣта.

— А я пойду къ митрополиту, не теряя времени. Кузьмина - Караваева окончила духовную академію. Митрополитъ за нее заступится.

Позвонила Гришину - Алмазову.

Спросилъ:

— Вы ручаетесь?

Отвѣтила:

Да.

— Въ такомъ случаѣ, завтра-же отдамъ распоряженіе. Вы довольны?

— Нѣтъ. Нельзя завтра. Надо сегодня и надо телеграмму. Очень ужъ страшно — вдругъ опоздаемъ!

— Ну, хорошо. Пошлю телеграмму. Подчеркиваю «пошлю».

Кузьмину - Караваеву освободили.

Впослѣдствіе встрѣчала я еще на многихъ этапахъ нашего странствія - - въ Новороссійскѣ, въ Екатеринодарѣ, въ Ростовѣ-на-Дону — круглый береть на крутыхъ кудряхъ, разлетайку, гетры, и слышала стихи и восторженный писк покраснѣвшихъ отъ волненія носиковъ. И вездѣ онъ гудѣлъ во спасеніе кого-нибудь.

*
* *

Пріѣхалъ въ Одессу мой старый другъ М. Пробрался гонцомъ отъ Колчака изъ Владивостока черезъ всю Сибирь черезъ большевицкіе станы, съ донесеніемъ, написаннымъ на тряпкахъ (чтобы нельзя было прощупать), зашитыхъ подъ подкладку шинели. Онъ заѣхалъ къ общимъ знакомымъ, которые сообщили ему, что я въ Одессѣ и сейчасъ же вызвали меня по телефону. Встрѣча была очень радостная, но и очень странная. Вся семья столпилась въ углу комнаты, чтобы намъ не мѣшать. Изъ пріоткрытой двери умиленно выглядывала старая нянюшка. Всѣ притихли и торжественно ждали: вотъ друзья, которые считали другъ друга погибшими сейчасъ встрѣтятся. Господи! Заплачутъ, пожалуй... Времена то вѣдь такія...

Я вошла:

— Мишель! Милый! Какъ я рада!

— А ужъ я то. до чего радъ! Столько пережить пришлось. Посмотрите сколько у меня сѣдыхъ волосъ!

— Ничего подобнаго. Ни одного. Вотъ у меня, дѣйствительно, есть. Вотъ здѣсь на лѣвомъ вискѣ. Пожалуйста, не притворяйтась. что не видите!

— Ну, и ровно ничего. Буквально, ни одного.

— Да, вы подойдите къ свѣту. Это что? Это по вашему не сѣдой волосъ?

— Ни капли. Вотъ у меня, дѣйствительно. Вотъ, посмотрите, на свѣтъ.

Ну, знаете, это даже подло!

— А вамъ лишь бы спорить. Именно я сѣдой.

— Узнаю вашъ милый характеръ! Что у него то все великолѣпно, а у другого все дрянь!

Хозяева на цыпочкахъ, благоговѣйно вышли изъ комнаты.

Когда эти первые восторги встрѣчи прошли, М. разсказывалъ много интереснаго о своей судьбѣ. бѣ.

Человѣкъ онъ былъ глубоко штатскій, помѣщикъ, пошелъ на военную службу во время войны. Поѣхалъ послѣ революціи въ имѣніе, тамъ въ родномъ городишкѣ, осажденномъ большевиками, выбранъ былъ диктаторомъ.

— Вы, конечно, мнѣ не повѣрите, такъ вотъ я съ опасностью для жизни, пронесъ подъ подкладкой приказы подписанные моимъ именемъ.

Я посмотрѣла. Вѣрно.

— Они подвезли артиллерію и такъ и сыпали по насъ снарядами. Пришлось удирать, — разсказывалъ онъ. — Я скачу верхомъ черезъ поле. Вдругъ вижу во ржи два васплечка рядомъ. Нигдѣ ни одного, а тутъ два рядомъ. Будто, чьи-то глаза.

И знаете — все забылъ и пушекъ не слышу. Остановилъ лошадь, слѣзъ и сорвалъ василечки. А тутъ кругомъ бѣгутъ, кричатъ, падаютъ. А мнѣ чего-то и не страшно было, какъ вы думаете отчего мнѣ не было страшно? Храбрый я что ли?

Онъ задумался.

— Ну, а дальше?

— Оттуда попалъ на Волгу. До чего смѣшно! Флотомъ командовалъ. Ничего сражались. Помните мнѣ лѣтъ пять тому назадъ гадалка сказала, что незадолго до смерти буду служить во флотѣ. И всѣ надо мной смѣялись: большой, толстый и надѣнетъ шапочку съ ленточками. Вотъ и исполнилось. Теперь ѣду въ Парижъ, а потомъ черезъ Америку во Владивостокъ обратно къ Колчаку. Отвезу ему его адмиральскій кортикъ, который онъ бросилъ въ воду. Матросы его выловили и посылаютъ съ привѣтомъ.

Разсказывалъ, что видѣлъ въ Ростовѣ Оленушку. Она играла въ какомъ-то театрикѣ, и очень дружно жила со своимъ мужемъ, похожимъ на гимназиста въ военной формѣ. Оленушка стала убѣжденной вегетаріанкой, варила для себя какіе-то прутья и таскала кусочки мяса у мужа съ тарелки.

—Да, ужъ вы бы, Оленушка, положили бы себѣ прямо, поковѣтывалъ М.

Маленькій мужъ покраснѣлъ отъ испуга:

— Что вы! Что вы! Нельзя такъ говорить. Она сердится. Она вѣдь по убѣжденію.

М. готовился въ дальній путь. Торопился. Надо было скорѣе отвезти Колчаку разныя одесскія резолюціи и вообще наладить связь. Онъ былъ первымъ гонцомъ, благополучно проскочившимъ.

Былъ бодръ. Въ Колчака и бѣлое дѣло вѣрилъ свято.

— Возложенную на меня миссію, выполню съ

радостью и самоотверженіемъ. У меня хорошо на душѣ. Одно только смущаетъ: черный опалъ въ моемъ перстнѣ треснулъ. Раскололся крестомъ. Какъ вы думаете, что это значитъ?

Я не сказала, что я думаю, но темный знакъ не обманулъ. Ровно черезъ мѣсяцъ М. умеръ...

Ему очень хотѣлось увезти меня изъ Одессы. Кругомъ говорили:

— Ауспиціи тревожны!

Онъ уѣзжалъ на военной миноноскѣ и обѣщалъ выхлопотать мнѣ разрѣшеніе. Но погода была скверная, на морѣ свирѣпые штормы, и я уѣхать не согласилась:

И столько дружескихъ голосовъ успокаивали М. на мой счетъ:

— Неужели вы думаете, что мы не позаботимся о Надеждѣ Александровнѣ, если будутъ эвакуировать Одессу!

— Она первая взойдетъ на пароходъ — клянусь вамъ въ этомъ!

—Да неужели кто-нибудь изъ насъ сможетъ уѣхать, не подумавъ прежде всего о ней? Даже смѣшно!

(И, дѣйствительно, впослѣдствіи было очень смѣшно, но не потому, что они позаботились...)

Рано утромъ разбудили меня. Холодное было утро. Синія тѣни лежали на блѣдныхъ щекахъ М.

Когда будятъ рано въ слѣпое зимнее утро — это всегда или проводы или похороны, или несчастье, или страшная вѣсть. И дрожитъ тѣло каждой каплей крови въ этомъ мутномъ свѣтѣ безъ солнца.

Синія тѣни лежали на щекахъ М.

— Ну, прощайте, ѣду. Перекрестите меня.

— Господь съ вами.

— Теперь, навѣрное, не надолго. Теперь скоро увидимся.

Но никакихъ надеждъ на простыя, милыя радости не чувствовала я въ этомъ тоскливомъ разсвѣтѣ, привидѣніи грядущихъ дней. И я повторила тихо:

— Господь съ вами. А увидимся ли мы — не знаю. Мы вѣдь ничего не знаемъ. И поэтому всякая наша разлука — навсегда.

И мы уже больше не встрѣтились.

Черезъ годъ въ Парижѣ русскій консулъ передалъ мнѣ перстень съ чернымъ опаломъ.

Это все, что осталось отъ моего друга. Его, уже мертваго, дочиста обокралъ жившій въ томъ же отелѣ авантюристъ. Онъ унесъ все — платье, бѣлье, чемоданы, кольца, портсигаръ, часы, даже флаконы съ духами, но почему то не посмѣлъ дотронуться до чернаго опала. Что то въ немъ почувствовалъ.

Любопытна исторія происхожденія этого опала.

Одно время — это было приблизительно въ началѣ войны — я очень увлекалась камнями. Изучала ихъ, собирала легенды съ ними связанныя. И приходилъ ко мнѣ одноглазый старичекъ Коноплевъ, приносилъ уральскіе благородные камни, а иногда и индійскіе. Уютный былъ старичекъ. Разстилалъ на столѣ подъ лампой кусокъ чернаго бархата и длинными тонкими щипцами, которые онъ называлъ «корцы», вынималъ изъ коробочки синіе, зеленые, красные огоньки, раскладывалъ на бархатѣ, разсматривалъ, разсказывалъ. Иногда упрямился камушекъ, не давался корцамъ, бился весь въ испуганныхъ искрахъ, какъ живой птенчикъ.

— Ишь, неполадливый! — ворчалъ старичекъ Рубинчикъ - шпинель, оранжевый свѣтикъ. Горячій.

— А вотъ сапфирчикъ. Вонъ какъ цвѣтетъ камушекъ. Таусень, павлиній глазокъ. Въ сапфирѣ важно не то, что онъ свѣтелъ или темень, а то, ко

гда онъ въ лиловость впадаетъ, цвѣтетъ. Это все понимать надо.

Долгіе часы можно было просидѣть, переворачивая корцами холодные огоньки. Вспоминались легенды:

— Показать изумрудъ змѣѣ — у нея изъ глазъ потекутъ слезы. Изумрудъ — цвѣтъ цвѣтущаго рая. Горько змѣѣ вспоминать грѣхъ свой.

— Аметистъ — цѣломудренный, смиренномудрый камень, очищаетъ прикосновеніемъ. Древніе пили изъ аметистовыхъ чашъ, чтобы не опьянялю вино. Въ двѣнадцати камняхъ первосвященника — аметистъ важнѣйшій. И папа аметистомъ благословляетъ канониковъ.

— Рубинъ — камень влюбленныхъ. Опьяняетъ безъ прикосновенія

— Александритъ — удивительный нашъ уральскій камень Александритъ, найденный въ царствованіе Александра Второго и его именемъ названный пророчески. Носилъ въ сіяніи своемъ судьбу этого государя: цвѣтующіе дни и кровавый закатъ.

— И алмазъ, ясписъ чистый.. символъ жизни Христовой.

Я любила камни. И какіе были между ними чудесные уроды: голубой аметистъ, желтый сапфиръ, или тоже сапфиръ блѣдно голубой съ ярко желтымъ солнечнымъ пятнышкомъ. По Копоплевски «съ порокомъ», а по-моему съ горячимъ сердечкомъ.

Иногда приносилъ онъ кусокъ сѣраго камня и въ немъ цѣлый выводокъ изумрудовъ. Какъ дѣти подобранныя по росту — все меньше и меньше, тусклые, слѣпые, какъ щенята. Ихъ обидѣли, ихъ слишкомъ рано выкопали. Имъ еще надо было тысячелѣтія созрѣвать въ глубокой горячей рудѣ.

И вотъ какъ разъ во время этой моей любви

къ камнямъ, принесъ какъ-то художникъ А. Яковлевъ нѣсколько опаловъ, странныхъ, темныхъ. Ихъ привезъ какой то художникъ съ Цейлона и просилъ продать.

—Опалы приносятъ несчастье. Не знаю, брать ли? Посовѣтуюсь съ Коноплевымъ.

Коноплевъ сказалъ:

— Если сомнѣваетесь — ни за что не берите. Вотъ я покажу вамъ сейчасъ камушки дивной красоты, согласенъ чуть ли задаромъ отдать. Вотъ взгляните. Цѣлое ожерелье.

Онъ развернулъ замшевую тряпку и выложилъ на бархатъ одинъ за другимъ двѣнадцать огромныхъ опаловъ дивной красоты. Блѣдно - лунный туманъ. И въ немъ въ этомъ туманѣ загораются и гаснутъ зеленые и алые огоньки: «есть путь!», «нѣтъ пути!» «Есть путь!» «Нѣтъ пути!» Переливаются, манятъ, путаютъ...

— Задаромъ отдамъ, — повторяетъ съ усмѣшкой Коноплевъ.

И не оторваться отъ лунной игры. Смотришь —тихій туманъ. И вдругъ — мигнулъ огонекъ, и рядомъ другой, вздулся въ пламень, затопилъ первый, и оба погасли.

— Задаромъ. Но долженъ упредить. Продалъ я это ожерелье все цѣликомъ госпожѣ Мартенсъ, женѣ профессора. Очень ей понравилось, оставила у себя. А на другое утро присылаетъ слугу — берите, молъ, скорѣе камни обратно: неожиданно мужъ скончался, профессоръ Мартенсъ. Такъ вотъ — какъ хотите. Не боитесь — берите, а убѣждать не стану.

Отъ коноплевскихъ опаловъ я отказалась, а одинъ изъ черныхъ цейлонскихъ рѣшила взять. Долго вечеромъ разсматривала его. Удивительно былъ красивъ. Игралъ двумя лучами: синимъ и зе

леным. И бросалъ пламень такой сильный, что казалось, выходилъ онъ, отдѣлялся и дрожалъ не въ камнѣ, а надъ нимъ.

Я купила опалъ. Другой такой же купилъ М.

И вотъ тутъ то и началось.

Нельзя сказать, чтобы онъ принесъ мнѣ опредѣленное несчастье. Это блѣдные, мутные опалы несутъ смерть, болѣзнь, печаль и разлуку.

Этотъ — не то. Онъ просто схватилъ жизнь, охватилъ ее своимъ черным огнемъ, и заплясала душа какъ вѣдьма на кострѣ. Свистъ, вой, искры, огненный вихрь. Весь бытъ, весь ладъ — все сгорѣло. И странно, и злобно, и радостно.

Года два былъ у меня этотъ камень. Потомъ я дала его А. Яковлеву, съ просьбой, если можно, вернуть тому, кто привезъ его съ Цейлона. Мнѣ казалось, что нужно, чтобы онъ ушелъ, какъ Мефистофель, непремѣнно тою же дорогой, какою пришелъ и какъ можно скорѣе. Если пойдетъ по другой дорогѣ, запутается и вернется. А мнѣ не хотѣлось, чтобы онъ возвращался.

Второй камень А. Яковлевъ оставилъ у себя. Не знаю надолго ли, но знаю, что жизнь его тоже подхватила сине - зеленая волна, закружила и бросила въ далекую косоглазую Азію.

Третій камень завертѣлъ тихаго и мирнаго М. Какъ уютно текла его жизнь: мягкое кресло, костяной ножичекъ между шершавыхъ страничекъ любимаго поэта, лѣнивыя руки, съ ногтями, отшлифованными, какъ драгоцѣнные камни, рояль, портретъ Оскара Уайльда въ черепаховой рамѣ, переписанные бисернымъ почеркомъ стихи Кузьмина...

И вотъ — выронили лѣнивыя руки не разрѣзанную книжку. Война, революція, пелѣпая женитьба. «диктаторъ въ родномъ городишкѣ», под-

писывающій чудовищные приказы, партизанская война на Волгѣ, Колчакъ, страшный путь черезъ всю Сибирь, Одесса, Парижъ, смерть. Разрѣзала черный камень глубокая трещина вдоль и поперекъ — крестомъ. Кончено.

***

Сбѣгались въ Одессу новые бѣженцы, москвичи, петербуржцы, кіевляне.

Такъ какъ пропуски на выѣздъ легче всего выдавались артистамъ, то — поистинѣ талантливъ русскій народъ! — сотнями, тысячами двинулись на югъ оперныя и драматическія труппы.

— Мы ничего себѣ выѣхали, — блаженно улыбаясь разсказывалъ какой нибудь скромный парикмахеръ съ Гороховой улицы. Я — первый любовникъ, жена — инженю, тетя Фима — гранъ-кокетъ, мамаша въ кассѣ и одиннадцать суфлеровъ. Всѣ благополучно проѣхали. Конечно, пролетаріатъ былъ слегка озадаченъ количествомъ суфлеровъ. Но мы объяснили, что это самый отвѣтственный элементъ искусства. Безъ суфлера пьеса итти не можетъ. Съ другой стороны, суфлеръ, сидя въ будкѣ и будучи стѣсненъ въ движеніяхъ, быстро изнемогаетъ и долженъ немедленно замѣняться свѣжимъ элементомъ.

Пріѣхала опереточная труппа, состоящая исключительно изъ «благородныхъ отцовъ».

И пріѣхала балетная труппа, набранная сплошь изъ институтскихъ начальницъ и старыхъ нянюшекъ...

Всѣ новоприбывшіе увѣряли, что большевицкая власть трещитъ по всѣмъ швамъ и что, собственно говоря, не стоитъ распаковывать чемоданы. Но все-таки распаковывали...

Настроеніе въ городѣ было если не бодрое, то очень оживленное.

– Антанта! Антанта!

Смотрѣли въ море, ждали «вымпеловъ».

Деньги мало по малу исчезали. Въ магазинахъ сдачу выдавали собственными знаками, которые иногда сами выдававшіе ихъ торговцы не узнавали. Все дорожало съ каждымъ днемъ. Какъ то въ магазинѣ приказчикъ заворачивая мнѣ кусокъ сыру, трагически указалъ на него пальцемъ и сказалъ:

— Вонъ, смотрите, съ каждой минутой дорожаетъ!

— Такъ заворачивайте его скорѣе, — попросила я. — Можетъ быть, въ бумагѣ онъ успокоится.

И вотъ неожиданно исчезъ Гришинъ - Алмазовъ. Уѣхалъ инкогнито, никому ничего не сказавъ. Спѣшилъ проскочить къ Колчаку. Скоро стала извѣстна его трагическая судьба. Въ Каспійскомъ морѣ онъ былъ настигнутъ большевиками. Увидѣвъ приближающійся корабль съ краснымъ флагомъ, сѣроглазый губернаторъ Одессы выбросилъ въ море чемоданы съ документами и, перегнувшись черезъ бортъ, пустилъ себѣ пулю въ лобъ. Умеръ героемъ.

— Героемъ, Гришинъ - Алмазовъ! «Подчеркиваю, героемъ»!

Въ Одессѣ мало обратили вниманія на эту смерть. Только комендантъ Лондонской гостиницы сталъ мнѣ кланяться суше и разсѣяннѣе, и его пушистая собака перестала вилять хвостомъ. И скоро пришелъ онъ ко мнѣ озабоченный, извинился и сказалъ, что отведетъ мнѣ номеръ въ Международной гостиницѣ, такъ какъ вся Лондонская отойдетъ подъ штабъ.

Очень было жаль уходить изъ милаго номера шестнадцатаго, гдѣ каждый день въ шесть часовъ чуть-чуть теплѣлъ радіаторъ, гдѣ въ каминномъ зеркалѣ отражались иногда милыя лица: сухое, породистое Ивана Бунина, и профиль блѣдной камеи его жены, и ушкуйникъ Алеша Толстой, и лирическая жена его Наташа Крандіевская, и Сергѣй Горный, и Лоло, и Нилусъ, и Панкратовъ...

Ну что-жъ — еще одинъ этапъ. Мало-ли ихъ было? Мало-ли ихъ будетъ?..

А въ городѣ стали появляться новыя лица: воротникъ поднятъ, оглянется и шмыгнетъ подъ ворота.

— «Они» уже просачиваются! Увѣряю васъ, что они просачиваются. Мы видѣли знакомое лицо — комиссаръ изъ Москвы. Онъ сдѣлалъ видъ, что не узналъ насъ и скрылся.

— Пустяки. Антанта... десантъ... Бояться нечего

И вдругъ знакомая фраза, догнавшая насъ, прибѣжала запыхавшаяся:

— Аусли-ціи тре-вожны!

Началось!

14.

Вышелъ первый номеръ «Нашего Слова». Настроеніе газеты боевое, бодрое.

Полнымъ диссонансомъ — мой фельетонъ «Послѣдній завтракъ». Послѣдній завтракъ осужденнаго на смерть. Описаніе веселящейся Одессы. Описаніе зловѣщаго молчанія кругомъ и тихіе шорохи, шелесты, шопоты въ подпольяхъ, куда «просачиваются они».

Настроеніе мое не одобрялн.

— Откуда такой мракъ? Что за зловѣщія пророчества? Теперь, когда антанта... когда высаживаются новыя воинскія части... когда французы и т. д.

— Вотъ уже совсѣмъ не кстати. Взгляните только, что дѣлается на рейдѣ!

— Вымпелы!

— Антанта!

— Десантъ!

Очевидно, я дѣйствительно не права...

Неунывающая группа писателей и артистовъ затѣяла открыть «подвалъ», гдѣ нибудь на крышѣ. Конечно, въ стилѣ «Бродячей собаки». Дѣло было только за деньгами и за названіемъ. Подъ вліяніемъ разговоровъ объ антантѣ, я посовѣтывала назвать «Теткинъ вымпелъ»...

Прошли слухи о томъ, что, пожалуй, Междупа-

родную гостиницу займутъ подъ разные штабы. Тогда снова придется мнѣ искать пристанища. Съ ужасомъ вспомнила первые одесскіе дни, въ холодной комнатѣ въ частной квартирѣ, когда въ разбитое окно ванной комнаты, гдѣ стоялъ умывальникъ для всей семьи, сыпалъ снѣгъ прямо на голову. Хозяинъ ходилъ мыться въ пальто съ поднятымъ воротникомъ и въ барашковой шапкѣ на головѣ. Хозяйка мылась, засунувъ руки въ муфту. Можетъ быть, въ такомъ видѣ имъ было и тепло и удобно — не знаю. Я чихала и согрѣвалась гимнастикой по всѣмъ существующимъ въ мірѣ методамъ. Больше мнѣ всего этого не хотѣлось. Хотя была весна, весна, которая всегда ведетъ за собой лѣто, такъ что со стороны холода бояться нечего, но перспектива трудныхъ квартирныхъ поисковъ раздражала и утомляла заранѣе. Лучше ни о чемъ не думать. Тѣмъ болѣе, что я никакъ не могла себѣ представить осѣдлой жизни въ Одессѣ. Когда я жила въ Лондонской гостинницѣ, мои гости говорили мнѣ:

— Какой чудесный видъ будетъ изъ вашего окна весною.

И я всегда отвѣчала:

— Не знаю. Не чувствую себя весною здѣсь. Ауспиціи тревожны...

Иду въ яркій солнечный день по улицѣ. Съ набережной — невиданное зрѣлище — черноріе солдаты, крутя крупными бѣлками глазъ (словно каленое крутое яйцо съ желтымъ припекомъ), гонятъ по мостовой груженныхъ ословъ. Это и есть десантъ. Но особаго энтузіазма въ народонаселеніи не замѣтно.

— Ишь, какихъ прислали. Лучше то ужъ не нашлось?

Негры яростной улыбкой обнажали каннибальскіе зубы, кричали что-то, вродѣ «хабалда бал-

да», и нельзя было понять, ругаются они или приветствуютъ насъ.

— Ну, да все равно, впослѣдствіи выяснится.

Ослы бодро помахивали хвостиками. Это аусиндія благопріятная.

— Ну? Что вы думаете за Одессу, что-о?

Странно-знакомый голосъ...

— Гуськинъ!

— Что-о? Это же не городъ, а мандаринъ. Отчего вы не сидите въ кафэ? Тамъ же, буквально, всѣ битыя сливки общества.

Гуськинъ! Но въ какомъ видѣ! Весь строго выдержанъ въ синихъ тонахъ: пиджакъ, галстухъ, шляпа, носки, руки. Словомъ — франтъ.

— Ахъ, Гуськинъ, я, кажется, останусь безъ квартиры. Я прямо въ отчаяніи.

— Въ отчаяніи? — переспросилъ Гуськинъ. — Ну, такъ вы уже не въ отчаяніи.

— ?..

— Вы уже не въ отчаяніи. Гуськинъ вамъ найдетъ помѣщеніе. Вы, навѣрное, думаете себѣ: Гуськинъ этъ!

— Увѣряю васъ, никогда не думала, что вы «этъ»!

— А Гуськинъ, Гуськинъ это... Хотите ковровъ?

— Чего? — даже испугалась я.

— Ковровъ! Тутъ эти мароканцеры навезли всякую дрянь. Прямо великолѣпныя вещи и страшно дешево. Такъ дешево, что прямо дешевле порванной рѣпы. Вотъ, могу сказать точную цѣну, чтобы вы имѣли понятіе: чудесный коверъ самаго новѣйшаго старинаго качества, размѣромъ — длина три аршина десять вершковъ, ширина два аршина пять... пѣтъ, два аршина шесть вершковъ... И вотъ,

за такой коверъ вы заплатите... сравнительно очень недорого.

— Спасибо, Гуськинъ, теперь уже меня не надуютъ. Знаю, сколько надо заплатить.

— Эхъ, госпожа Тэффи, какъ жаль, что вы тогда раздумали ѣхать съ Гуськинымъ. Я недавно возилъ одного пѣвца — такъ себѣ, паршивецъ. Я, собственно говоря, стрѣлялъ въ Собинова...

— Вы стрѣляли въ Собинова? Почему?

— Ну, какъ говорится, стрѣлялъ, то есть мѣтилъ, мѣтилъ въ Собинова, ну, да, не вышло. Такъ повезъ я своего паршивца въ Николаевъ. Взялъ ему залу, билеты продалъ, публика, все, какъ слѣдуетъ. Такъ что-жъ вы думаете! Такъ этотъ мерзавецъ ни одной высокой нотки не взялъ. Гдѣ полагается высокая нота, тамъ онъ — ну, вѣдь это надо же имѣть подобное воображеніе! — тамъ онъ вынимаетъ свой сморкательный платокъ и преспокойно смокрается. Публика заплатила деньги, публика ждетъ свою ноту, а мерзавецъ сморкается себѣ, какъ каторжникъ, а потомъ идетъ въ кассу и требуетъ деньги. Я разсердился, буквально, какъ какой нибудь левъ. Я дѣйствительно страшенъ въ гнѣвѣ. Я ему говорю: «извините менѣ — гдѣ же ваши высокія ноты?» Я прямо такъ и сказалъ. А онъ молчитъ и говоритъ: «И вы могли воображать, что я стану въ Николаевѣ брать высокія ноты, то что же я буду брать въ Одессѣ? И что я буду брать въ Лондонѣ, и въ Парижѣ, и даже въ Америкѣ? Или, говоритъ, вы скажете, что Нпколаевъ такой же городъ, какъ Америка?» Ну, что вы ему на это отвѣтите, когда въ контрактѣ поты не оговорены. Я смолчалъ, но все-таки, говорю, что «у васъ, навѣрное, высокихъ нотъ и вовсе нѣтъ». А онъ говоритъ: «У меня ихъ очень даже большое множество, но я не желаю плясать подъ вашу дудку. Сегодня, гово-

рить, вы требуете въ этой аріи «ля», а завтра потребуете въ той же аріи «си». И все за ту же цѣну. Ладно и такъ. Найдите себѣ мальчика. Городъ, говоритъ, небольшой, можетъ и безъ верхнихъ нотъ обойтись, тѣмъ болѣе, что кругомъ революція и братская рѣзня». Ну, что вы ему на это скажете?

— Ну, тутъ ужъ ничего не придумаешь.

— А почему бы вамъ теперь не устроить свой вечеръ? Я бы такую пустилъ рекламу. На всѣхъ столбахъ, на всѣхъ стѣнахъ огромными буквами, что-о? Огромными буквами: «Выдающая программа...»

— Надо «ся», Гуськинъ.

— Кого-о?

— Надо «ся». Выдающаяся.

— Ну, пусть будетъ «ся». Развѣ я спорю. Чтобы дѣло разошлось изъ-за такихъ пустяковъ... Можно написать: «Потрясающійся успѣхъ».

— Не надо «ся», Гуськинъ.

— Теперь уже не надо? Ну, я такъ и думалъ, что не надо. Почему вдругъ. Разъ всегда всѣ пишутъ «выдающая»... А тутъ дамскіе нервы и давай «ся».

Онъ вдругъ остановился, оглядѣлся и шопотомъ спросилъ:

— А, можетъ, вамъ нужна валюта?

— Нѣтъ. Зачѣмъ?

— А для Константинополя.

— Я не собираюсь уѣзжать.

— Не собираетесь?

Онъ подозрительно посмотрѣлъ на меня.

— Не собираетесь? Ну, пусть будетъ такъ. Пусть будетъ, что не собираетесь.

Чувствовалось, что не вѣритъ.

— Развѣ кто-нибудь сказалъ вамъ, что я ѣду въ Константинополь?

Гуськинъ отвѣтилъ загадочно:

— А развѣ нужно, чтобы еще говорили ?Хэ!

Ничего не понимаю. Смотрю на сизаго Гуськина, на яростно улыбающихся негровъ, на нетерпѣливые хвостикиословъ. Можетъ быть, эти черные лики повернули мечту Гуськина къ Стамбулу?

Странно все это...

15.

Быстро, словно испуганные, побѣжали дни.

Сколько ихъ? Совсѣмъ немного — три-четыре? Можетъ быть, шесть? Не помню.

Но вотъ — будятъ меня утромъ топотъ, голоса, хлопанье дверей.

Встаю.

Странная картина: тащутъ по коридору сундуки, чемоданы, картонки, узлы. Бѣготня, суета. Двери раскрыты настежь. На полу всюду клочья бумаги, веревки.

Выселяютъ ихъ всѣхъ, что ли? Ну да тамъ видно будетъ.

Въ вестибюлѣ навалены всякій багажъ. Суетятся озабоченные люди, шепчутся, суютъ другъ другу деньги, толкуютъ о какихъ то пропускахъ. И все это въ страшномъ волненіи. Красные, глаза выпучены, руки разставлены, котелки на затылкѣ.

Вѣроятно «штабы» пріѣзжаютъ. Не выселили бы и меня.

Вернулась на всякій случай къ себѣ въ номеръ, вынула изъ шкафа платья, изъ комода бѣлье. Сунула въ сундукъ и пошла въ редакцію.

Тамъ навѣрное все знаютъ.

На улицѣ совсѣмъ уже неожиданное зрѣлище: бѣгутъ черныя рожи, гонятъословъ. Только теперь повернуты ослы мордами къ берегу, а хвостами къ

городу. Горопятся черные, колотятъ ословъ палками, и бѣгутъ ослы въ притруску.

Что это можетъ значить?

Изъ прачешной выбѣгаетъ французскій солдатъ съ охапкой мокраго бѣлья. За нимъ двѣ осатанѣлыя прачки.

— Управы на нихъ нѣту! Стой! Можетъ, чужое забралъ...

Черезъ открытую дверь прачешной валитъ паръ и видно, какъ тамъ французскіе солдаты вырываютъ у прачекъ бѣлье. Крики, вопли. И господинъ въ котелкѣ копошится тамъ же,

Что это можетъ значить? Завоевываютъ прачекъ?

Одесскія прачки дѣйствительно бичъ Божій. Что онѣ съ нами выдѣлывали! Одна изъ нихъ не вернула мнѣ ровно полдюжины платковъ.

— Такъ я же васъ за это удовлетворяю, — съ достоинствомъ сказала она .

— Какъ такъ?

— Да вѣдь я же не беру съ васъ за стирку тѣхъ платковъ, которые я вамъ не вернула!

Смотрю у другой прачешной тоже рукопашная.

— Мадамъ Тэффи!

Оборачиваюсь.

Мало-знакомая личность. Кажется, кто-то изъ журналистовъ. Бѣжитъ запыхавшись.

— Видѣли картинку? Развели пашку! А вы такъ себѣ спокойно прогуливаетесь! Развѣ уже закончили всѣ сборы?

— Сборы? Куда?

— Куда? Въ Константинополь.

Чего они меня всѣ гонятъ въ Константинополь?

Но онъ уже убѣжалъ, размахивая руками, утирая лобъ.

— · Въ чемъ дѣло?

Вчера еще заходили ко мнѣ друзья и знакомые. Никто мнѣ ничего о Константинополѣ не говорилъ. Эвакуація, что-ли? Но развѣ это бываетъ такъ вдругъ, мгновенно?

Въ редакціи полная растерянность.

— Что случилось?

— Какъ, «что случилось»? Французскія войска бросили городъ, вотъ что случилось. Надо удирать.

Вотъ онъ, Константинополь-то!

Катились мы всѣ съ сѣвера, внизъ по картѣ. Сначала думали, что посидимъ въ Кіевѣ, да и по домамъ. Я еще дразнила братьевъ-писателей.

— Что! Довелъ насъ языкъ до Кіева?

Погнало насъ внизъ, прибило къ морю, теперь значитъ надо плавь. Но куда?

Слышу проекты.

«Наше слово» найметъ большую шхуну, нагрузитъ въ нее ротаціонную машину и типографскую бумагу, заберетъ всѣхъ сотрудниковъ и двинетъ на всѣхъ парусахъ въ Новороссійскъ.

Говорили и сами себѣ не вѣрили.

— А вы куда ѣдете? — спросили у меня.

— Да ровно никуда. Остаюсь въ Одессѣ.

— Да васъ повѣсятъ.

— Это дѣйствительно будетъ очень скучно. Но куда же мнѣ дѣваться?

— Хлопочите скорѣе о пропускѣ на какой-нибудь пароходъ.

«Хлопотать» я абсолютно не умѣла.

Въ одной изъ редакціонныхъ комнатъ сидѣлъ на подоконникѣ А. Р. Кугель, блѣдный, лохматый, и разговаривалъ самъ съ собой.

— Куда идти? Разъ они уже здѣсь, разъ ни

кто защитить не можетъ... Можетъ быть у нихъ сила? У нихъ право?

Я подошла къ нему, но онъ даже не замѣтилъ меня и продолжалъ говорить самъ съ собой.

Надо все-таки что-нибудь предпринять, если дѣйствительно всѣ уѣзжаютъ. Что же я буду дѣлать одна?

Вотъ теперь какъ разъ кстати вспомнить о преданныхъ душахъ, которыя мѣсяцъ тому назадъ со слезами восторга, «которыхъ онѣ не стыдились», вопили, что въ случаѣ эвакуаціи Одессы, я первая войду на пароходъ.

Позвонила по телефону къ адвокату А. Отвѣтила его дочь.

— Папы нѣтъ дома.

- Вы уѣзжаете?

— Н-нѣтъ, ничего не извѣстно. Я ничего не знаю.

Позвонила къ Б.

Отвѣтила квартирная хозяйка.

- Уѣхали. Всѣ уѣхали.

— Куда?

— На пароходъ. У нихъ давно были пропуски отъ французовъ.

— А! вотъ какъ! Значитъ давно...

Б. тоже клялись и умилялись...

Хотѣла повидать кое-кого изъ литературныхъ друзей, но почему то часть города была оцѣплена солдатами. Почему — никто не зналъ. Вообще никто ничего не зналъ.

- Отчего уходятъ французскія войска?

— Получена тайная телеграмма изъ Франціи. Тамъ революція, тамъ утвердились коммунисты, и значитъ, войска противъ большевиковъ сражаться не могутъ.

Во Франціи революція? Что за галиматья!

— Нѣтъ, — догадался кто-то. — Они не уходятъ, а только дѣлаютъ видъ, что уходятъ. Чтобы обмануть большевиковъ.

Изъ парикмахерской выскочила знакомая дама.

— Безобразіе! Жду три часа. Всѣ парикмахерскія биткомъ набиты... Вы уже завились?

— Нѣтъ, — отвѣчаю я растерянно.

— Такъ о чемъ же вы думаете? Вѣдь большевики наступаютъ, надо бѣжать. Что же вы такъ, нечесанная, и побѣжите? Зинаида Петровна молодецъ: — Я, говоритъ, еще вчера поняла, что положеніе тревожно и сейчасъ же сдѣлала маникюръ и ондюлясіонъ. Сегодня всѣ парикмахерскія биткомъ набиты. Ну, я бѣгу...

Прохожу мимо дома адвоката А. Рѣшаю просто зайти и узнать.

Отворяетъ его дочь.

— Папы все еще нѣтъ. Онъ придетъ часа черезъ два.

Вся передняя завалена платьемъ, бѣльемъ, башмаками, шляпами. Раскрытые сундуки и чемоданы наполовину набиты вещами.

— Вы уѣзжаете?

— Кажется, да...

— Куда?

— Кажется, въ Константинополь. Но у насъ нѣтъ никакихъ пропусковъ и папа хлопочетъ. Вѣроятно, не поѣдемъ.

Звонитъ телефонъ.

— Да! — кричитъ она въ трубку. — Да, да. Вмѣстѣ. Каюты рядомъ? Отлично. Папа заѣдетъ за мной въ семь часовъ.

Не желая ее конфузить тѣмъ, что слышала ея разговоръ, я тихонько открываю дверь и ухожу.

На улицѣ новая встрѣча.

Знакомая одесситка. Очень возбужденная и даже радостная.

— Голубчикъ! Ну вы же мнѣ не повѣрите! Плотный какъ кожа! Спѣшите скорѣе, тамъ уже немного осталось.

— Чего? Гдѣ?

— Крепъ де шинъ. Ну, прямо замѣчательный! Я себѣ набрала на платье. Чего вы удивляетесь? Нужно пользоваться. Дешево продаютъ, потому что все равно большевики отберутъ. Бѣгите же скорѣе! Ну?

— Спасибо, но право, какъ то нѣтъ настроенія.

— Ну, знаете, лавочникъ ждать не станетъ, пока у васъ настроеніе перемѣнится. И, вѣрьте мнѣ, что насъ ждетъ неизвѣстно, но за то извѣстно, что крепъ де шинъ всегда нуженъ.

Зашла къ моимъ друзьямъ М-мъ.

Они ничего не знали. Не знали даже, что войска уходятъ. Но у нихъ были другія примѣты тревожныхъ перемѣнъ.

— Долбоносый въѣхалъ въ квартиру и поселился въ гостиной. Прислушайтесь!

Прислушалась.

Изъ гостиной черезъ коридоръ неслись звуки очень непріятнаго ржаваго голоса. Голосъ пѣлъ:

"Мадамъ Лю-лю-у-у...

"Я васъ люблю-у-у..."

Ага! Понимаю Это былъ голосъ долбоносаго субъекта, типа очень подозрительнаго, который шмыгалъ иногда по коридору, старательно отворачивая лицо. Кто то изъ бывшихъ у М-мъ узналъ его и даже назвалъ кличку. Это былъ большевикъ изъ Москвы.

Приходилъ къ хозяйкѣ, шептался съ ней, подслушивалъ, подглядывалъ. Одновременно и ухаживалъ, такъ какъ хозяйка была женщина не старая,

съ утра ходила въ платьѣ съ открытой жирной шеей, густо, словно мукой, обсыпанной пудрой, глаза у нея были выкаченные, съ толстыми вѣками, носъ шиломъ, словомъ, — вся любовь.

Поздно вечеромъ слышно было какъ, покончивъ съ прозой шпіонажныхъ донесеній, она томно ворковала голубиными стопами.

— Ой-й-й! И гдѣ мое блаженство? Гдѣ?

— Твое блаженство и съ тобой! — отвѣчалъ ей ржавый голосъ.

И вотъ со вчерашняго дня «блаженство» перестало прятаться. Оно переѣхало съ корзиной и громко крикнуло въ кухню:

— Аннушка! Почистите мнѣ брюки!

Большевикъ пересталъ прятаться.

— Дѣйствительно, ауспиціи тревожны.

М-мъ никуда ѣхать не собирались. И меня это подбодрило.

Вотъ сидятъ же люди спокойно на мѣстѣ...

Пошла къ себѣ въ гостиницу.

Швейцары куда то исчезли. Большинство номеровъ пусты, съ настежь открытыми дверями.

Только что поднялась къ себѣ — стукъ въ дверь.

Влетаетъ знакомый москвичъ X.

— Я второй разъ забѣгаю. Нѣтъ ли у васъ денегъ? Всѣ банки закрыты. Намъ не съ чѣмъ выѣхать, жена въ отчаяніи.

- Куда вы ѣдете?

— Мы сегодня вечеромъ на «Шилкѣ» во Владивостокъ. А вы куда?

— Никуда.

— Вы шутите! Вы съ ума сошли! Оставаться въ городѣ, который обѣщали отдать бандамъ на разграбленіе. Говорятъ «Молдаванка» уже вооружена и ждетъ только, когда всѣ войска отойдутъ, чтобы ринуться на городъ.

— Куда же мнѣ дѣваться?

— Мы были увѣрены, что вы давно уже устроились. Ѣдемте съ нами на «Шилкѣ» во Владивостокъ — у насъ есть пропускъ. Мы и васъ проведемъ.

— Хорошо. Я съ радостью.

— Въ такомъ случаѣ ровно въ восемь часовъ вечера будьте съ багажомъ на пристани.

— Помните же — ровно въ восемь.

— Ну, конечно. Поцѣлуйте Лелечку.

Теперь, когда мой отъѣздъ устраивался, я почувствовала какъ мнѣ въ сущности хотѣлось уѣхать. Теперь, когда можно было спокойно думать, о томъ, что меня ждало, если бы я осталась, мнѣ стало страшно. Конечно, ни смерти я боялась. Я боялась разъяренныхъ харь, съ направленнымъ прямо мнѣ въ лицо фонаремъ, тупой идіотской злобы. Холода, голода, тьмы, стука прикладовъ о паркетъ, криковъ, плача, выстрѣловъ и чужой смерти. Я такъ устала отъ всего этого. Я больше этого не хотѣла. Я больше не могла.

Открыла окно.

Гдѣ-то, на боковой улицѣ, стрѣляли.

Уложила вещи. Спустилась внизъ.

Въ вестибюлѣ стало спокойнѣе. У стѣнъ еще остались кое-какіе чемоданы, но суетни не было. Даже отельная прислуга, куда-то исчезла. У парадnаго крыльца вертѣлся мальчишка - разсыльный.

— Кто это стрѣляетъ? — спросила я.

– А это шпекулянтовъ пугаютъ.

— Какихъ спекулянтовъ?

— А которые валютой торгуютъ. Ихъ тамъ множество на улицѣ — зайдите за уголъ, такъ увидите. Отъѣзжающимъ валюту продаютъ, ну вотъ въ нихъ и палятъ.

Мальчишкѣ, видимо, нравилось, что палятъ.

Я вышла на улицу, заглянула за уголъ. Дѣйствительно, тамъ подальше группировались кучками какіе-то люди, о чемъ-то толковали, махали руками.

Раздавался выстрѣлъ, — группы медленно расплывались и быстро собирались снова.

— Туда не ходите. Подстрѣлютъ, — остановилъ мальчишка. — А тамъ налѣво тоже не пройти. Тамъ кордонъ.

— Почему?

– А хочутъ грабить нашу Международную и

Лондонскую. Здѣсь самая нажива: оружіи и иностранцы. Сюда прежде всего придутъ.

Вотъ такъ исторія!

– А много еще жильцовъ осталось въ отелѣ?

– Очинно мало. Почитай что никого нѣтъ. Всѣ выѣхали.

Я рѣшила пройти на пристань, разыскать, гдѣ стоитъ «Шилка», чтобы потомъ легче было ее найти, когда пріѣду съ багажомъ.

Дорога къ морю оказалась свободной.

На пристани пусто.

Подальше на рейдѣ суда: «Херсонъ», «Кавказъ» и иностранцы.

Среди пришвартованныхъ къ пристани барокъ разыскала «Шилку». Маленькое суденышко. Неужели оно пришло изъ Владивостока, пересѣкло Индійское море?

На «Шилкѣ» ни души. Изъ трубы дыма не видно...

Ну, значитъ, успѣютъ къ вечеру наладить.

Замѣтивъ хорошенько мѣсто, пошла домой.

Попробовала созвониться по телефону съ друзьями. Телефонъ не дѣйствовалъ.

Разыскала своего пріятеля — швейцарова мальчишку и вмѣстѣ съ нимъ стащила внизъ багажъ.

— А найду ли я извозчика?

— Извозчика-а? Ну, это, знаете ли, того-съ. Это надо у пристани караулить и ловить порожняка. А въ городѣ не найдете.

Столковались съ мальчишкой, чтобы онъ пошелъ на пристань и заказалъ извозчика къ семи часамъ, лучше пріѣду пораньше. Х. будутъ ждать и волноваться.

Поднялась къ себѣ

Что-то безнадежное было въ этихъ пустыхъ ко-

ридорахъ, съ распахнутыми настежь дверями, съ обрывками бумагъ и веревокъ, которыхъ никто не выметалъ.

Дунулъ вихрь, закружилъ и смелъ. Остались только пыль да соръ...

Сѣла въ кресло у окна. Хотѣлось тихо собрать мысли, заглянуть въ себя, подумать.

Замѣтила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестикъ, вывезенный мною нѣсколько лѣтъ тому назадъ изъ Соловецкаго монастыря. Всегда я забываю его и всегда въ послѣднюю минуту вспоминаю и беру съ собой. И это для меня, какъ символъ..., но не хочу объ этомъ говорить.

Отвязала свой крестикъ. Простой рѣзной, какой кладутъ на грудь покойникамъ. Вспомнила Соловки, тоскливый, отрывистый крикъ чаекъ и вѣчный вѣтеръ холодный, соленый, обгладывающій тощія вѣтви сосенъ. И изможденныя лица послушниковъ, ихъ мочально-бѣлокурыя прядки волосъ подъ ветхой скуфейкой. Сѣверныя строгія лица. Лики.

Старенькій монашекъ у глухой церковки далеко въ глуби лѣса. На стѣнахъ церковки все архангелы: Михаилъ съ мечемъ, Рафаилъ съ кадиломъ, Варахіилъ, вертоградарь райскій, съ розами въ рукахъ, и Гавріилъ, ангелъ благовѣщенія, съ вѣткой лиліи, и Іегудіилъ — карающій, съ бичами, и Силахіилъ, ангелъ молитвы, со сложенными руками, и Уріилъ, скорбный ангелъ смерти со свѣчей, перевернутой пламенемъ внизъ.

— Святые ангелы у васъ, батюшка?

Старичекъ моргаетъ, не понимаетъ, не слышитъ:

—Куды? Куды?

Улыбнулся мелкими лучиками сухихъ морщинъ.

— Лики, милая, лики!..

Крестики, четки, тканые молитвой пояски въ монастырской лавочкѣ.

Старуха, сухая, костистая, зловѣщая, съ круглыми ястребиными глазами роется въ поясках:

— Усю обряду смертную давай мнѣ. Усю па девять человѣкъ семьи. На всѣхъ запасайтесь, пра в славные. Война. И что еще будетъ...

Да. «И что еще будетъ?..» Я выбираю кипарисовый крестикъ...

Нѣсколько лѣтъ виситъ онъ у меня у моего изголовья. Въ страшныя ,безсонныя черныя ночи многое - многое схоронила я подъ этимъ крестикомъ...

Стукъ въ дверь.

Не дожидаясь моего отвѣта, влетаетъ П., нѣкто изъ некрупныхъ общественныхъ дѣятелей. Волосы всклокочены, борода точно вѣтромъ сдута набокъ. Глазъ припухъ.

— Ахъ, съ какимъ трудомъ я добрался до васъ! — кричитъ онъ, растерянно глядя мимо меня. Съ той стороны стрѣляютъ, съ этой не пропускаютъ... еле проскочилъ...

— Ну, какой же вы милый, что вспомнили обо мнѣ въ такое время.

— Ну ,еще бы. Я прежде всего подумалъ о васъ. Вы именно такой человѣкъ, который можетъ выручить. Съ вашими знакомствами, со связями, съ вашей извѣстностью... Мы оказались въ ужасномъ положеніи. Ш. обѣщалъ всѣхъ насъ устроить на пароходъ, отходящій въ Константинополь. Онъ клялся, что французы заберутъ насъ всѣхъ. Назначилъ прійти за пропусками сегодня къ одиннадцати.. Мы сидѣли, какъ дураки, передъ запертыми дверями до трехъ, и вдругъ входитъ секретарь и выражаетъ полное удивленіе нашимъ присутствіемъ. Оказывается, что господинъ Ш. изволилъ уѣхать еще въ восемь часовъ утра и никакихъ рас-

поряженій не оставилъ. Нѣтъ — какъ вамъ это нравится! Теперь вся надежда на васъ.

— Что же я-то могу сдѣлать?

— Какъ что? Вы можете куда-нибудь съѣздить и похлопотать. Поѣзжайте на «Кавказъ», разскажите, въ какомъ мы положеніи. Васъ всѣ знаютъ.

— Да начать съ того, что у меня у самой никакого пропуска нѣтъ. Х. обѣщалъ взять меня съ ними на «Шилку». Если бы не онъ, пришлось бы остаться въ Одессѣ.

— Никогда не повѣрю! Вы, которую вся Россія... Бликгенъ и Робинсонъ выпустили карамель вашего имени. Карамель «Таффи». Самъ ѣлъ. И чтобы вы...

— Карамель-то ѣли, а вотъ все-таки, если бы не Х., то пришлось бы мнѣ...

— Въ такомъ случаѣ, мы ѣдемъ съ вами на... «Шилку», — рѣшилъ П. Вы обязаны насъ устроить. Мы тоже не кто-нибудь. Россія послѣднихъ моментовъ тоже кое-чѣмъ намъ обязана. Слушайте: я бѣгу на развѣдки. Если ничего не удастся — вы насъ устраиваете на «Шилку». Это вашъ гражданскій долгъ. Вы отвѣтите передъ исторіей. Жму вашу руку и вѣрю вамъ.

Чортъ знаетъ что!

Распахнулъ дверь, стукнулся лбомъ о притолоку и выскочилъ. Но черезъ секунду дверь снова распахнулась.

— У васъ, конечно, есть валюта?

— Нѣтъ. Валюты у меня нѣтъ.

— Ай-ай-ай! Ну какъ же такъ можно! Какъ можно быть такой непредусмотрительной, — распекалъ онъ меня. — Положительно, господа, живете вы точно на лунѣ, совершенно не сознавая момента и не учитывая возможностей.

На минуту задумался и прибавилъ очень строгимъ тономъ:

— Теперь гдѣ же я возьму валюту, въ случаѣ, если придется ѣхать за границу?

Онъ ушелъ, повидимому, очень недовольный мной.

Смеркалось. Пора было собираться на пристань.

Внизу ждалъ меня мой мальчишка. Онъ договорилъ извозчика за какую-то легендарную цифру. Тотъ обѣщалъ заѣхать за мной въ семь часовъ.

Мальчишка предложилъ пообѣдать.

— Поваръ остался и два офиціанта. Кое-что могутъ собрать поѣсть.

Мнѣ ѣсть не хотѣлось.

Вышла на улицу. Послушала, какъ стрѣляютъ въ разныхъ концахъ города. Стрѣляли, повидимому, безъ особаго смысла и цѣли. Просто такъ «пострѣливали» напутственно, какъ деревенскій мальчишка бросаетъ щепочку вслѣдъ барской колясктѣ.

Чувствовалась настороженность, мертвая зыбь, отраженіе гдѣ-то бушующей бури.

Мальчишка стоялъ на подъѣздѣ и манилъ меня рукой: пріѣхалъ обѣщанный извозчикъ.

Спустились къ набережной.

Тихо.

Отыскали «Шилку»

На ней пусто. Ни одного огонька. Пусто и на берегу.

Что же все это значитъ? Слѣзла съ извозчика подошла ближе.

— Эй! Шилка!

На борту замаячила фигура. Китаецъ!

—Эй! Есть кто нибудь на «Шилкѣ»? Уходитъ «Шилка» сегодня въ море? А? Отвѣчай-же!

Китаецъ юркнулъ внизъ. Скрылся.

— Эй? Китаецъ!

Сверху съ берега кто-то выстрѣлилъ. Очень близко.

— Ой барыня! — крикнулъ извозчикъ. — Ты какъ себѣ хочешь, а я тутъ стоять не стану. Я багажъ твой на берегъ выгружу, а ждать туть не стану.

— Подожди немножко, голубчикъ! — попросила я. Я тебѣ заплачу. Сейчасъ придутъ мои знакомые. Мы сговорились.

— Ни за какія деньги ждать не стану. Не слышите что ли? —стрѣляютъ. Гужи срѣжутъ, лошадь уведутъ. Я тебѣ багажъ выгружу, и сиди, коли хочешь, хоть всю ночь.

Я еще повертѣлась на берегу. Ни души. Покричала китайца.

Темнѣетъ.

Опять выстрѣлъ, и зашуршалъ камушекъ недалеко отъ меня.

Извозчикъ рѣшительно слѣзъ съ козелъ и сталъ стаскивать чемоданъ.

Что я тутъ буду дѣлать одна на берегу? Ясно, что «Шилка» сегодня не двинется. Ни огня, ни команды на ней не видно. Но гдѣ же Х. Можетъ быть, заѣхали ко мнѣ въ Международную или прислали туда записку...

За двойную плату извозчикъ соглашается отвезти меня обратно. Теперь, если придется снова ѣхать на пристань, у меня еле хватитъ чѣмъ заплатить.

Гостиница погружена въ полный мракъ. Только внизу, въ вестибюлѣ и въ ресторанѣ кое-гдѣ свѣтятся лампочки.

— Никто не приходилъ? Не присылалъ за мной?

Никто, ничего. Тишь, гладь, Божья благодать.

Хочется ѣсть, но боюсь тратить деньги.

Остаюсь внизу, въ вестибюлѣ. Непріятно идти одной по пустымъ коридорамъ. Достаю какую-то уютную книжку, кажется, Ибсена, и сажусь поближе къ лампѣ.

Къ судьбѣ своей у меня полное равнодушіе. Ни тревоги, ни страха. Сдѣлать все равно ничего не могу. Прослѣдила мысленно свой странный путь изъ Москвы все на югъ, на югъ, и все не по своей волѣ. Явился перстъ судьбы въ образѣ Гуськина, ткнулъ меня.

— Поѣздка всего на одинъ мѣсяцъ. Нѣсколько вечеровъ съ валовымъ сборомъ и вотъ вы уже дома и вотъ вы уже спокойны. Что-о?

И вотъ качусь внизъ по картѣ и гонитъ меня судьба куда хочетъ и докатила до самого моря. Теперь захочетъ — въ море загонитъ, захочетъ — по берегу покатитъ. Въ сущности — не все ли равно?

Подошелъ офиціантъ. Офиціантскаго въ немъ осталось только крахмальная манишка съ чернымъ галстухомъ. Фракъ замѣнилъ рваный пиджачекъ.

— Поваръ хочетъ, чтобы вы покушали, — сказалъ онъ.

— Ну что же, разъ поваръ хочетъ — покоримся повару.

— Обѣдъ все равно готовили. Супъ есть, баранина, компотъ.

— Ну вотъ и отлично.

Онъ накрылъ передо мной столикъ и принесъ супъ. Подавая, оглядывался, прислушивался, заглядывалъ въ окно. Потомъ исчезъ.

Я ждала, ждала и рѣшила пойти на развѣдки. Заглянула въ буфетъ.

— Гдѣ тотъ лакей, что мнѣ обѣдъ подавалъ?

— Лаке-ей? — спросилъ чей-то голосъ изъ темнаго угла. — Сбѣжалъ твой лакей. На улицѣ

стрѣляютъ. Скоро Молдаванка сюды нагрянетъ. Собѣжалъ какъ прихвостень капитализма.

Я вернулась въ вестибюль.

Тамъ металась отъ окна къ двери, отъ двери къ лѣстницѣ, высокая молодая дама. Увидя меня, она быстро подошла.

— Ваша комната номеръ шестой? Мы съ братомъ въ томъ же этажѣ, но на другомъ концѣ коридора. Такъ мы вотъ что придумали: всѣ двери въ коридоръ мы закроемъ на ключъ, а внутри оставимъ сообщеніе. Если станутъ ломиться къ вамъ первой, то вы бѣгите по комнатамъ и запирайте за собой дверь. Если начнутъ ломиться къ намъ, мы побѣжимъ такимъ же путемъ къ вамъ.

—А вы думаете, что будутъ ломиться?

— Ну, конечно.

И опять знакомая фраза:

— Молдаванка вооружена и ждетъ когда послѣдній патруль уйдетъ, чтобы ринуться сюда и въ Лондонскую. Они воображаютъ, что здѣсь спрятались буржуи и капиталисты.

— Можетъ быть, намъ лучше куда нибудь уйти?

— А куда вы пойдете? Ночь. Слышите? стрѣляютъ... А куда вещи дѣнете? Да и кто васъ ночью пуститъ? Э, мы уже все обдумали. Будемъ тутъ отсиживаться. Это вашъ багажъ?

— Да.

— Не совѣтую тутъ оставлять.

Она обернулась и сказала шопотомъ:

— Отельные хлощы, которые здѣсь остались — съ ними заодно. Порядочные всѣ сбѣжали. Ну, такъ мы съ братомъ пойдемъ наверхъ запирать двери.

Она убѣжала.

Какъ все это скучно— скучно! Какъ все это

надоѣло! Право, даже пожалѣешь, что прошло то первое время, «весна» революціи, когда мелкой дрожью стучали зубы, когда, замирая, прислушивались, проѣдетъ грузовикъ мимо, или остановится у воротъ, когда до тошноты билось сердце подъ удары прикладовъ въ двери.

Теперь все привычно, все скучно до омерзѣнія. Грубо, грязно и глупо.

Но куда, однако, дѣвались Х? Почему онъ не забѣжалъ, не далъ ничего знать? Можетъ быть, «Шилка» уйдетъ утромъ и они еще увѣдомятъ меня...

— Надежда Александровна!

Инженеръ В. Углы рта опущены, дышитъ тяжело — сейчасъ заплачетъ.

— Что случилось? Какъ вы сюда попали? — удивляюсь я.

— Меня подло обманули. Мнѣ обѣщали пропускъ на «Корковадо», я прождалъ весь день и ничего не получилъ. Всѣ меня бросили... какъ со.. со... ба-ку-у-у.

Онъ высморкался и вытеръ глаза.

— Я не могу больше быть одинъ. Я пришелъ за вами. Отчего вы не уѣхали?

— Я жду Х-овъ. Мы должны были встрѣтиться на пристани въ восемь часовъ и вмѣстѣ погрузиться на «Шилку». Можетъ быть, они ещё пріѣдутъ за мной?

— Х? Вы ждете Х-овъ? Да вѣдь они уже уѣхали!

—Куда? Какъ? Почемъ вы знаете?

— Да я встрѣтилъ ихъ сегодня вечеромъ. Они ѣхали съ багажемъ на «Кавказъ». Ѣдутъ въ Константинополь.

— Быть не можетъ! И ничего не просили передать мнѣ?

— Нѣтъ, ничего. Они очень волновались и спѣ-

шили. На ней была ваша мѣховая накидка — помните? — ей было холодно, вы ей дали надѣть. Да, да, они уѣхали въ Константинополь.

Я молчала ошеломленная, и вдругъ, не знаю почему, вся эта исторія показалась мнѣ ужасно смѣшной.

—Чего же вы смѣетесь? — ужасался В. Они же васъ надули. Передумали, и даже не дали знать.

— Вотъ это то и смѣшно.

В. схватился за голову.

— Она смѣется, когда я въ жалкомъ отчаяніи! А что будетъ съ моей дѣвочкой! Маленькая моя Лелюся, Лелюсевичъ мой!

— Такъ дѣвочка же ваша сейчасъ въ полной безопасности въ деревнѣ. Чего же вы убиваетесь?

— Я такъ одинокъ, такъ ужасно одинокъ! Какъ со... со-ба... а..,

— Не вспоминайте вы, ради Бога, собаку, а то опять разреветесь.

— Умоляю васъ! Ѣдемте со мной на «Шилку», у меня есть два пропуска. Выдали на меня и на жену. Я проведу васъ, какъ жену. Умоляю! Я не могу больше оставаться одинъ. Я съ ума сойду.

— А развѣ «Шилка» уйдетъ сегодня?

— Да, часовъ въ одиннадцать. Такъ мнѣ сказали.

— Тогда ѣдемъ. Я согласна.

— Ну какъ же я радъ! Это вашъ супъ? Я его съѣмъ. Боже мой! Вѣдь, можетъ быть, придется умирать голодной смертью! Теперь я бѣгу за извозчикомъ, чемоданы со мной, я весь день вожу съ собой. Бѣгу! Ждите!..

Ну, на этотъ разъ, кажется, выберусь. Чемоданы В. здѣсь. Если забудетъ меня, такъ чемоданы вспомнитъ.

Рѣшила предупредить о моемъ отъѣздѣ даму, съ которой условились спасаться другъ къ другу.

Поднялась наверхъ, прошла по темному коридору, шурша раскиданной бумагой, путаясь въ обрывкахъ веревки, стучала въ двери, кричала:

— Это я! Я уѣзжаю!

Никто не отозвался. Либо они не вѣрили моему голосу, либо сами удрали куда нибудь и спрятались въ другомъ мѣстѣ, оставя меня одну справляться съ разбойниками.

Спустилась внизъ.

В. уже ждалъ меня и волновался, думая, что я сбѣжала. Онъ дико боялся остаться одинъ.

— Ну, ѣдемъ.

Поѣхали по темнымъ улицамъ къ пристани.

Кое-гдѣ вблизи пострѣливали. За то издали доносилась уже совсѣмъ серьезная пальба.

Спустились къ морю. Вотъ она «Шилка». По ней бродятъ огоньки. Значитъ, тамъ люди?

Подъѣхали ближе.

На пристани народъ, сундуки, узлы, чемоданы. Прилажены сходни. Наверху бѣлѣетъ морская офицерская фуражка.

— Идемъ скорѣе! Идемъ скорѣе! — торопитъ В. — Захватятъ всѣ мѣста. И не отставайте! Я боюсь быть одинъ!..

Какое счастье, что у него вдругъ объявился такой удобный для меня психозъ. Иначе сидѣть бы мнѣ въ Одессѣ...

— Идемъ! Идемъ!

⁂

Страшный корабль.

«Не слышно на немъ капитана,
Не видно матросовъ на немъ...»

Темно. Электричества, очевидно, тоже на немъ нѣтъ.

Съ тихимъ гуломъ ползутъ по трапу пассажиры. «Шилка», очевидно, безъ груза — ватерлинія видна надъ водой и трапъ круто подымается съ берега.

Ни суетни, ни истерической нервозности въ толпѣ не замѣтно. Всѣ какъ то насторожённо тихи. Дѣловито шепчутся. Изрѣдка только прорывается негромкій окрикъ:

— Генералъ М. здѣсь?

— Здѣсь.

— Мичманъ Р. Ищутъ мичмана.

— Есть!

И опять только тихій гулъ. Ночь теплая, темная.

Чуть-чуть накрапываетъ дождикъ.

Подымаюсь съ толпой на палубу. Никто никакихъ пропусковъ не спрашиваетъ.

— Постраемся пробиться въ каюты, — совѣтуетъ В. — Погода, кажется, будетъ скверная.

Но въ каюты уже не пробраться.

Интересно, — какъ мы двинемся. Вѣдь, машины не работаютъ, — говорю я.

— Можетъ быть, еще наладятъ. Вѣдь, не останемся же мы здѣсь! Слышите пальбу? Это, говорятъ, атаманъ Григорьевъ беретъ Одессу-товарную. Пожалуй, ночью они будутъ уже здѣсь.

Пароходъ набивается все плотнѣе и плотнѣе. Уже трудно двигаться по палубѣ.

— Постойте здѣсь, — говоритъ В. — Я попробую пробраться глубже.

Я подошла къ борту и стала глядѣть въ море.

Тихое, темное и спокойное было море, наша новая дорога въ неизвѣстное. Пахло мокрымъ канатомъ. Поблескивали огоньки на рейдѣ, гдѣ большіе, серьезные и важные корабли, набитые важными и свѣдущими персонами, таинственно переговаривались свѣтовыми сигналами. Готовились въ дальній путь, въ свободныя моря, къ спокойнымъ берегамъ.

— Пропадать будемъ, — тихо пробормоталъ кто-то около меня. — Если не найдутъ буксира, чтобы увелъ насъ на рейдъ, крышка намъ. Капутъ, да ладанъ.

— Ба-ба-бахъ! — отвѣчала ему Одесса-товарная.

— Зарево! Видите?

— Въ городѣ, говорятъ, уже грабятъ.

— Господи! Господи!..

И вдругъ кто-то тихо запѣлъ. Красивый женскій голосъ. Я нагнулась: примостившись на чемоданѣ, сидѣла молоденькая, нарядная барышня. Покачивала ножкой, перекинутой черезъ колѣно и задумчиво пѣла цыганскій романсъ:

«Гдѣ бъ ни скиталась я дунистою весною
Я вижу тотъ же сонъ, и имъ волнуюсь я...»

Поетъ!

— Какъ это такъ вы можете пѣть? — удивился кто-то.

— А мнѣ все равно. Надоѣло.

— Видно, еще не много претерпѣли! — продолжалъ удивлявшійся.

— Ну, пѣть, все-таки порядочно. Усадьбу сожгли, братъ пропалъ безъ вѣсти... Еле успѣли удрать.

— А вы что-же помѣщица, что-ли?

— Я-то? Я еще и института не кончила.

Повернула лицо къ тихому морю и снова запѣла.

"...душистою весною....
Я вижу тотъ же сонъ..."

Сидитъ на чемоданѣ, болтаетъ ногой въ свѣтломъ башмачкѣ, живетъ мечтой.

А рядомъ кто-то, не то вздыхая, не то икая, жуетъ булку. А маленькій, пузатенькій господинъ робко у меня спрашиваетъ:

— Вы, извините, госпожа Тэффи? Я, извините, Беркинъ. Я немного васъ уже видалъ. Можетъ быть, вы мнѣ можете дать совѣтъ? Я не знаю, оставаться мнѣ на пароходѣ или вернуться въ Одессу?

И уже шопотомъ:

— У меня при себѣ крупная сумма. Вы мнѣ можете поручиться, что на пароходъ не пролѣзли большевики?

— Да я то почемъ знаю? Вы же видите, что я сама здѣсь.

— Вы здѣсь, но, можетъ быть, вы не рискуете, а я рискую такъ, какъ я вамъ уже сказалъ... Простите, но меня, извините, очень знобитъ исключительно отъ страха, такъ какъ имѣю на себѣ фу-

файку... Такъ вы совѣтуете остаться? Умоляю васъ, я сдѣлаю, какъ вы рѣшите!

— Ну, какъ же я могу брать на себя отвѣтственность!

— Ну, я же васъ умоляю!

Я взглянула на него: все лицо дрожитъ, и углы рта опустились — плачетъ, что-ли.

— По-моему, оставайтесь здѣсь. Здѣсь спокойнѣе, а въ городъ какъ вы теперь проберетесь? Темно, пусто — васъ еще ограбятъ.

— Уфъ, какъ вы, однако, правы! Ну, вотъ я уже и спокоенъ.

Вернулся В.

— Всѣ каюты и коридоры биткомъ набиты. Нашелъ мѣсто только въ ванной. Тамъ, кромѣ насъ, будутъ еще двое. Вамъ уступили скамеечку, я и еще одна личность на полу и одинъ въ ваннѣ. Вещи наши уже свалены въ трюмъ.

Подошелъ инженеръ О. и разсказалъ новости: изъ пароходной команды нѣтъ ни души. Всѣ убѣжали въ городъ, очевидно, желая сдать пароходъ большевикамъ. Машина разобрана, многихъ частей не хватаетъ. Не то унесены онѣ или уничтожены съ умысломъ, — чтобъ не дать намъ уйти и увести «Шилку», не то просто въ цѣляхъ ремонта. Нашли забившихся въ трюмъ китайцевъ, пароходныхъ слугъ. Они сначала дѣлали видъ, что ничего не знаютъ и не понимаютъ, но, когда имъ пригрозили револьверомъ, указали, гдѣ спрятаны кое-какія части машинъ. Тотчасъ начали разыскивать среди пассажировъ механиковъ и инженеровъ. Вызвался О. и еще двое-трое и приступили къ работѣ. Надѣются собрать машину. Но работы много и придется кое-что самимъ смастерить. Не хватало какихъ-то подшипниковъ. Если удастся починить — мы спасены. А нѣтъ, такъ дѣло дрянь.

Начали искать среди пассажировъ моряковъ, чтобъ взяли на себя командованіе. Нашлось нѣсколько человѣкъ и выбрали командиромъ капитана Рябинина..

Но, собственно говоря, публика ничего обо всѣхъ этихъ дѣлахъ не знала и даже не спрашивала. Размѣщали ручной багажъ, чтобъ удобнѣе было сидѣть, укладывали дѣтей спать, устраивали жизнь. Инженеръ О. спустился въ машинное отдѣленіе.

Я пошла бродить по пароходу. Кое-гдѣ въ толпѣ мелькнули знакомыя лица: профессоръ Мякотинъ, Федоръ Волькенштейнъ, Ксюнинъ, Титовъ... Товарищъ министра юстиціи Ильяшенко (впослѣдствіи убитый большевиками).

На полу въ коридорахъ, на лѣстницахъ, на связкахъ каната, подъ трубой, на скамейкахъ, подъ скамейками, всюду лежали и сидѣли люди.

— Господа! Да, вѣдь, мы поѣхали — закричалъ вдругъ чей-то радостный голосъ. — Мы ѣдемъ!

— Пошли! Пошли!

Тихо поворачивался берегъ, поворачивались огоньки на рейдѣ.

— Идемъ!

Но машина не стучитъ и дыма изъ трубы не видно.

— Буксиръ! Буксиръ насъ ведетъ.

— И то слава Богу. Хоть на рейдъ поставятъ. Хоть подальше отъ проклятаго берега будемъ.

Буксиръ «Рома» велъ насъ на рейдъ.

А потомъ что?

Вотъ и мы, «какъ большіе», стоимъ на рейдѣ.

Между пароходами стали сновать лодочки...

Одна лодочка причалила къ нашей «Шилкѣ». По трапу поднялся какой-то зловѣщій одесситъ,

разыскалъ своихъ знакомыхъ, безмятежно жевавшихъ финики, и клятвенно увѣрилъ ихъ, что они неминуемо погибнутъ. Знакомые выплюнули недожеванные финики и предались бурному отчаянію, а одесситъ, съ видомъ человѣка, исполнившаго тяжелый долгъ, дѣловито шагнулъ черезъ бортъ и спустился въ свою лодочку.

Мой новый пріятель, «извините, Беркинъ», вдругъ засуетился и рѣшилъ тоже раздобыть лодку и навѣдаться на какой-нибудь пароходъ.

— Зачѣмъ вамъ это нужно?

— Ну, все-таки узнаю, какъ тамъ у нихъ и разскажу, какъ тутъ у насъ.

Лодочники драли совершенно несообразныя деньги, но желающихъ разузнать и разсказать нашлось довольно много.

«Извините. Беркинъ» побывалъ на двухъ пароходахъ.

— Ну, я же имъ порассказалъ!..

— Что же вы разсказали?

— Разсказалъ, что намъ сообщили по радіо, что съ моря идутъ большевики. Изъ Севастополя.

— По какому радіо? У насъ, вѣдь, аппаратъ не дѣйствуетъ.

— Отлично себѣ дѣйствуетъ...

— Да мнѣ только что говорилъ мичманъ, который этимъ завѣдуетъ.

— А вы ему вѣрите? Такъ вы лучше мнѣ вѣрьте.

— Откуда же вы знаете?

Вранье было явное и опредѣленное.

Лодки продолжали сновать между пароходами. За баснословныя деньги ѣздили люди попугать другъ друга. Для такой великой цѣли развѣ чего пожалѣешь!

Беркинъ ѣздилъ три раза.

— Больше я уже себѣ позволить не могу. Лодочники такой нахальный народъ и пользуются человѣческой бѣдой.

Подъ утро врали угомонились.

Наше пароходное начальство волновалось тремя вопросами — какъ двинуть «Шилку», откуда достать уголь для топки и чѣмъ накормить пассажировъ.

Китайцы, которымъ снова пригрозили, показали запасъ рису и консервовъ. Но всего этого было мало.

Недалеко отъ насъ на рейдѣ оказался пароходъ, везшій изъ Севастополя въ Одессу провіантъ. Попросили у него продовольственной помощи. Пароходъ отказался и заявилъ строго, что идетъ въ Одессу разгружаться.

— Да вѣдь тамъ большевики!

— А намъ до этого дѣла нѣтъ, — отвѣчалъ пароходъ.

Тогда «Шилка» возмутилась и открыла военныя дѣйствія: послала двѣ шлюпки съ пулеметами добывать провіантъ.

Провіантъ добыли, но обиженный пароходъ пожаловался французскому кораблю «Жанъ Бартъ».

«Жанъ Бартъ» грозно заоралъ на «Шилку»:

— Разбойники! Большевики! Объяснить немедленно, не то...

«Шилка» отвѣчала съ достоинствомъ и съ сентиментомъ, что, молъ, у нея на борту голодныя женщины съ голодными дѣтьми и что, молъ, французы всегда были рыцарями.

«Жанъ Бартъ» притихъ и немедленно послалъ къ «Шилкѣ» шлюпку съ шоколадомъ, мукой и сгущенымъ молокомъ.

Инженеръ О. поднялся изъ машиннаго отдѣ-

ленія и сказалъ, что «Шилка» можетъ двигаться, но только заднимъ ходомъ.

Многихъ это извѣстіе перепугало. „Думали — разъ задній ходъ, такъ, значитъ, назадъ, въ Одессу.

Мякотинъ, Титовъ и Волькенштейнъ, какъ члены партіи — не помню какой— выползали изъ трюма подъ трубу совѣщаться. Шептались оживленно и многозначительно смолкали, когда кто-нибудь подходилъ. Ксюнинъ въ трюмѣ началъ издавать на пишущей машинкѣ газету.

18.

Буксиръ подтащилъ насъ къ угольщику и было объявлено всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ:

— Должны сами грузить на «Шилку» уголь. Рабочихъ на угольщикѣ нѣтъ, на пароходѣ команды нѣтъ. Если хотите, чтобы пароходъ двинулся — грузите уголь.

— Неужели... всѣ должны работать?

— А то какъ же, — былъ отвѣтъ.

Началась прелюбопытная штука.

Элегантные молодые люди въ щегольскихъ костюмчикахъ смущенно улыбались, показывая, что понимаютъ шутку. Конечно, сейчасъ, мол, выяснится, что нельзя же заставлять элегантныхъ людей таскать на спинѣ уголь. Вѣдь это же нелѣпо! Вздоръ какой!

— Эй! Выстраивайтесь всѣ на палубѣ! — закричалъ властный голосъ. — Всѣ мужчины, кромѣ стариковъ и больныхъ.

Элегантные молодые люди оторопѣли. Растерянно оглянулись. Шутка затянулась слишкомъ долго.

— Ну? Чего же вы тутъ топчетесь, — крикнули на одного изъ нихъ. — Слышали команду? Лѣзьте наверхъ.

Можетъ быть, наверху поймутъ ихъ элегантность и неспособность...

Палуба быстро наполнялась выстраивающимися въ ряды пассажирами.

— Сейчасъ вамъ раздадутъ корзины. Надѣньте ихъ на спину.

Элегантные молодые люди усмѣхались, чуть-чуть пожимали плечами, точно участвовали въ нелѣпомъ анекдотѣ, о которомъ потомъ забавно будетъ поразсказать.

Но вотъ у борта на трапѣ начался какой то скандалъ.

— Позвольте, — кричалъ кто-то. — На какомъ же основаніи вы уклоняетесь?! Человѣкъ сильный, здоровый...

— Прошу васъ оставить меня въ покоѣ!

На палубу выбѣжалъ кряжистый господинъ, лѣтъ сорока, съ дрожавшими отъ бѣшенства глазами.

— Прошу немедленно оставить меня въ покоѣ!

— Нѣтъ, вы сначала скажите, какія у васъ основанія отказываться отъ работы, на которую призваны буквально всѣ?

— Какія основанія? — заревѣлъ кряжистый господинъ. — А такія, что я дворянинъ и помѣщикъ и никогда въ жизни не работалъ, не работаю, и не буду работать. Ни-ко-гда! Зарубите себѣ это на носу.

Ропотъ возмущенія всколыхнулъ толпу.

— Позвольте, но вѣдь, если мы не будемъ работать, то пароходъ не отойдетъ отъ берега!

— Мой мужъ тоже помѣщикъ! — пискнула изъ толпы.

— Вѣдь мы же всѣ попадемъ въ лапы къ большевикамъ!

— Но при чемъ же я здѣсь?! — въ бѣшеномъ недоумѣніи вопилъ кряжистый. — Наймите людей, устройтесь какъ нибудь. Мы жили въ капиталисти-

ческомъ строѣ, въ этихъ убѣжденіяхъ и я желаю оставаться. А если вамъ нравится соціалистическая ерунда, и трудъ для всѣхъ, такъ вылѣзайте на берегъ и идите къ своимъ, къ большевикамъ. Поняли?

Публика растерялась, замялась.

— Отчасти, гм... — сказалъ кто-то.

— Но съ другой стороны нельзя же доставаться большевикамъ...

— И почему мы должны работать, а онъ нѣтъ?

— Самосудомъ бы его! — хрюкнула, пролѣзшая на палубу старушонка.

— Ну, знаете, господинъ, вы это бросьте, — урезонивалъ добродушный купецъ изъ Нижняго.

— Не задерживать! — вылетѣлъ начальническій окрикъ.

Бѣлая морская фуражка приблизилась.

— Спускайтесь къ угольщику, берите корзины.

Къ начальству подскочилъ одинъ изъ «элегантовъ» и зашепталъ, скосивъ глаза на принципіальнаго дворянина.

Начальство мотнуло головой и спокойно отвѣтило:

— А ну его къ чорту!

Нагрузка началась.

Длинной вереницей прошли по трапамъ вверхъ и внизъ почернѣвшіе, закоптѣвшіе грузчики. Всѣ пассажиры вылѣзли изъ каютъ,изъ трюма, изъ коридоровъ, смотрѣть на невиданное зрѣлище: молодые «элеганты» въ лакированныхъ башмачкахъ и шелковыхъ носочкахъ, поддерживая, затянутыми въ желтыя перчатки, руками тяжелыя корзины, тащили уголь.

Они быстро вошли въ роль, сплевывали и ругались.

— Гайда, ребята, не задерживай!

«Ребята» въ лицѣ «извините Беркина», плѣшиваго, пузатаго на топкихъ кривыхъ ногахъ, отвѣчали:

— Э-эй-ухнемъ!

— Чего выпучили глаза? — кричалъ на зрителей длинный, какъ любительская удочка, чтецъ-декламаторъ. — Заставить бы васъ поработать, не стали бы глаза пучить.

— Смотрѣть то они всѣ умѣють, — язвилъ купецъ изъ Нижняго. А вотъ ты поработай съ нами...

— Р-аботать они не желаютъ, — прокартавилъ курносый лицеистъ. — А небось ѣсть побѣгутъ въ пег-вую голову... Собяки!

Кто то затянулъ срундовую пѣсенку послѣднихъ дней:

— Цыпленокъ жареный,
Цыпленокъ пареный,
Цыпленокъ тоже хочетъ жить.

Кто то пустилъ въ перебой:

— Ѣшь ананасъ,
Рябчика жуй,
День твой послѣдній
Приходитъ буржуй!

И

— Эхъ, яблочко,
Куды котишься?
Попадешь въ Чеку,
Не воротишься!

Подпѣвая, съ аппетитомъ поругиваясь, работали во всю.

— Вотъ онъ Евреиновскій театръ для себя, — подумала я. Играютъ въ крючниковъ и вошли въ

роль и увлеклись игрой. И даже видно, кто сеоѣ какъ представляетъ заданный ему типъ.

Вотъ ползетъ по трапу пузатый «извините Беркинъ». Ноги у него пружинятъ и заплетаются. Лѣзетъ по трапу, какъ паукъ по паутинѣ — круглый, съ тонкими лапками. Но выраженіе лица прямо Стеньки Разина, волжскаго разбойника —

Размахнись рука,
Раззудись плечо!
Эй ты, гой еси...

и все прочее.

И тащитъ тяжеленную корзинищу, какую ему безъ художественнаго вдохновенія ролью и не поднять бы никогда

Вотъ какой то интеллигентъ съ челочкой на лбу.

Шагаетъ понуро, съ упорной и горькой усмѣшкой на устахъ. Очевидно, ему кажется, что онъ бурлакъ тянетъ бичевку и роститъ въ груди зерно народнаго гнѣва: тащу, моль, тяну, молъ, но...

«Но настанетъ пора
И прроснется народъ!»

За нимъ ползло како-то чучело въ бѣлыхъ гетрахъ, въ тирольской шляпѣ съ перышкомъ и, растирая замшевой перчаткой черные потеки на щекахъ, говорило простонароднымъ тономъ:

— Э-эхъ, братцы, парнишки, видно тянутъ намъ эту ла... эту ля... эту ламку до конца дней!

Вылѣзъ изъ машиннаго отдѣленія инженеръ О., въ рабочей блузѣ, весь въ сажѣ.

— Ничего, кажется наладилъ. Теперь уже есть надежда...

Заговорилъ что-то про лебедку, про подшипники и снова полѣзъ въ машинное отдѣленіе.

И вдругъ раздался дикій хрипъ, вопль, визгъ, точно сотни козловъ, тысячи поросятъ вырвались изъ застѣнка, гдѣ съ нихъ драли шкуру. Это заревѣла наша труба. Черный дымъ валилъ изъ нея. Она дышала, вопила, жила. Пароходъ задрожалъ, заскрипѣлъ рулевой цѣпью и тихо повернулся.

— Да онъ задпимъ ходомъ, — сказалъ кто-то.

— Идемъ! Безъ буксира!

— Спасены-ы-ы!

Около меня стоялъ Федоръ Волькенштейнъ и смотрѣлъ въ открытое море, куда вольно и быстро уходилъ большой пароходъ.

— Это «Кавказъ», — шепталъ онъ, уходитъ въ Константинополь... — Ушелъ.,, Ушелъ,,,

Онъ долго смотрѣлъ вслѣдъ. Потомъ сказалъ мнѣ:

— На «Кавказѣ» увезли моего мальчика. Когда-то я снова увижу его. Можетъ быть, лѣтъ черезъ двадцать... и онъ не узнаетъ меня. Можетъ быть, никогда.

Вотъ и мы вышли въ море. Стучитъ винтъ, тихо дрожитъ пароходъ, гремитъ рулевая цѣпь. Волны упруго шлепаютъ въ правый бортъ.

Судовая жизнь налаживается. На мостикѣ появился капитанъ Рябининъ, маленькій, но стройный, похожій на мальчика кадета. Появился помощникъ капитана, нѣсколько мичмановъ, юнги. Въ машинномъ отдѣленіи инженеръ О., какіе-то машинисты, студенты - технологи. Въ кочегаркѣ — офицеры.

Пассажиры нѣжно волновались и умилялись надъ дружной работой волонтеровъ. Особенно тро-

гало ихъ самопожертвованіе офицеровъ въ кочегаркѣ.

— Вѣдь они прожгли свое платье, и теперь имъ не въ чемъ будетъ выйти на берегъ.

Устроили комитетъ, который долженъ былъ собрать деньги и вещи для пострадавшихъ.

— Объявимъ недѣлю бѣдноты, — предложилъ кто-то.

Но звучало это очень непріятнымъ воспоминаніемъ, и было мгновенно отклонено.

— Просто организуемъ летучіе отряды для реквизиціи бѣлья и платья, — предложилъ другой.

Но это было уже совсѣмъ отвратительно, и въ отвѣтъ всѣ завопили:

— Зачѣмъ? Это же прямо оскорбительно! Мы добровольно отдадимъ все, что нужно..

— Что долго толковать! Каждый изъ насъ долженъ отчислить въ пользу офицеровъ, работающихъ въ кочегаркѣ ,по двѣсти рублей, по двѣ смѣны бѣлья и по одному костюму.

— Грандіозно! Чудесно!

— Но... извините, — сказалъ знакомый голосъ.

— Ага! «Извините Беркинъ».

— Извините, но выдавать предметы мы будемъ не сегодня, — они тамъ еще, не дай Богъ, попортятся. Выдавать мы будемъ по прибытіи въ Новороссійскъ: это значительно удобнѣе для обѣихъ сторонъ. Я правильно говорю?

— Правильно!

— Правильно! Дѣльно! — поддержали пассажиры и разошлись съ успокоенными физіономіями.

Впослѣдствіи эта ассигнованная благодарны-

ми пассажирами сумма все уменьшалась. Въ Севастополѣ стали поговаривать уже только о бѣльѣ и костюмѣ.

По прибытіи въ Новороссійскъ забыли и объ этомъ...

Началась дамская трудовая повинность.

Созвали пассажировъ чистить, силой отобранную съ баржи свѣжую рыбу (та самая добыча, за которую призвалъ насъ къ отвѣту французскій пароходъ).

Соорудили на палубѣ столы изъ опрокинутыхъ черезъ козлы досокъ, роздали ножи, соль и закипѣла работа.

Я благополучно вылѣзла на палубу, когда всѣ мѣста у столовъ были уже заняты. Хотѣла, было, дать нѣсколько совѣтовъ нашимъ хозяйкамъ (тотъ, кто не умѣетъ работать, всегда очень охотно совѣтуетъ), но запахъ и видъ рыбьихъ внутренностей, заставилп меня благоразумно уйти внизъ.

По дорогѣ встрѣтила «извините Беркина».

- Какъ поживаете? — радостно привѣтствовалъ онъ меня. И вдругъ, понизивъ голосъ и совершенно измѣнивъ выраженіе лица, проговорилъ быстро:

— Слышали? Измѣна!

Оглянулся по сторонамъ и еще тише сказалъ:

— Капитанъ измѣнникъ. Ведетъ насъ въ Севастополь, чтобы передать съ рукъ въ руки большевикамъ.

— Что за вздоръ? Откуда вы это взязли?

— Одинъ пассажиръ подслушалъ радіо. Мол-

чите! Ни слова! Ни слова, но подготовляйте своихъ знакомыхъ.

Опъ спова оглянулся, прижалъ палецъ къ губамъ и скрылся.

Я подпялась наверхъ и разыскала мичмана, завѣдующаго нашей радіо = стащіей.

— Скажите, дѣйствуетъ нашъ аппаратъ?

— Нѣтъ, еще не наладили. Надѣюсь къ завтрему поправимъ.

— А скажите, вы увѣрены, что въ Севастополѣ большевиковъ нѣтъ?

— Ну, кто же можетъ поручиться. Вѣстей получить неоткуда. И ни одного встрѣчнаго судна до сихъ поръ не было. Впрочемъ, мы примемъ всѣ мѣры, чтобы предварительно разузнать. Хотите посмотрѣть. радіо-аппаратъ?

Эхъ, Беркинъ, Беркинъ! «Извините Беркинъ»! И откуда у васъ все это берется!

Между тѣмъ, внизу начали раздавать обѣдъ: супъ изъ рыбы и рисъ съ корнбифомъ.

Пассажиры съ тарелками, судками, плошками и ложками, выстроились двумя длинными хвостами въ очереди.

У меня не было ни плошки, ни ложки, и гдѣ раздобыть это добро я совершенно не знала. Какая то добрая душа пожертвовала мнѣ крышку отъ жестяного чайника.

— Вамъ туда рису положатъ.

Ладно. А вотъ ложка.. Пошла въ кухню.

Въ кухнѣ два китайца — поваръ съ помощникомъ. Ни одинъ ничего не понимаетъ.

— Есть у васъ ложка? Ложка? Понимаете? Ложка?

— Тасаталосака? — сказалъ поваръ.

— Ну, да, да — ложка! Дайте мнѣ ложку!

— Тасаталосака — спокойно повторилъ помощникъ и оба занялись своимъ дѣломъ, не обращая на меня вниманія.

— Я вамъ верну ее. Понимаете? Я вамъ заплачу.

Я показала имъ деньги.

И вдругъ, отдуда ни возьмись, налетѣла на меня сѣрой бурей щучьяго вида дѣвица.

— Подкупать! — завизжала она. — Подкупать деньгами пароходныхъ служащихъ! Получать привилегіи, которыхъ нѣтъ у неимущихъ!

— Чего вы кричите? — оторопѣла я. — Мнѣ просто ложка нужна. Пусть даромъ даютъ, если не хотятъ получить на чай, я не въ претензіи.

При словѣ «на чай» съ дѣвицей сдѣлались конвульсіи.

— Здѣсь нѣтъ ни баръ, ни чаевъ, ни денегъ. Здѣсь всѣ работаютъ и всѣ получаютъ одинаковый паекъ. Я видѣла, какъ вы хотѣли давать деньги, чтобы получать преимущества. Я могу засвидѣтельствовать, что видѣла и слышала. Я иду къ капитану и разскажу ему все.

Она быстро повернулась и вылетѣла изъ кухни.

Итакъ, значитъ, я гнусный преступникъ и вдобавокъ, несмотря на всѣ свои душевныя подлости, лишенный ложки.

Уныло попла я на палубу. По дорогѣ встрѣчаю одного изъ нашихъ судовыхъ командировъ.

— Что вы уже пообѣдали? — спрашиваетъ онъ бодро.

Я безпадежно махнула рукой.

— Ни плошки, ни ложки и вдобавокъ на меня же еще жалуются капитану.

— Что за ерунда — удивился офицеръ. —

Идите къ себѣ въ каюту. Я сейчасъ пришлю вамъ обѣдъ.

И черезъ десять минутъ я царственно сидѣла на скамеечкѣ въ ванной комнатѣ, поджавъ по-турецки ноги и на колѣняхъ у меня была тарелка съ рисомъ и корнбифомъ и въ рисъ воткнуты ложка и вилка. Вотъ, какъ возвеличила меня судьба!

Поздно вечеромъ, когда я уже улеглась на свою бѣженскую котиковую шубку, дверь въ каютку распахнулась и въ мутномъ свѣтѣ коридора обрисовалась фигура щучьей дѣвицы.

— Вы не спите? — спросила фигура.

— Нѣтъ еще.

— У васъ въ багажѣ, кажется, есть гитара?

— Да. А что?

Я была сонная и испугалась. Вдругъ, она побѣжитъ жаловаться капитану, что я вожу съ собой музыкальные инструмены, «когда народъ голодаетъ».

Ну, думаю, все равно. Пусть выбрасываютъ въ воду мое бѣлье и платье. Гитары не отдамъ.

— Будьте любезны — холодно говоритъ щучья дѣвица — дать свою гитару. Она нужна въ лазаретномъ отдѣленіи, гдѣ есть больной элементъ.

Въ первый разъ слышу, чтобы больныхъ лечили гитарами!

— Нѣтъ — такъ же холодно отвѣтила я. — Я вамъ своей гитары не дамъ. Кромѣ того, она съ багажемъ въ трюмѣ и врядъ ли будутъ выворачивать весь грузъ для вашихъ выдумокъ.

Если вы такъ относитесь къ своему гражданскому долгу — истерически задохнулась дѣвица — то мы еще увидимъ!...

Какъ она мнѣ, однако, надоѣла! Отдать мою

любимицу, мою пѣвучую радость, мою гитару, въ эти рыбьи плавники!

«Больной элементъ», навѣрное, подтянулъ бы колки и затренькалъ:

"Вы-ыйду-ль я на рѣ=ѣченьку,
Выйду=ль я на бы=ыструю...»

Ужасъ какой!

Я такъ люблю ее, мою «подругу семиструнную»...

Съ самаго дѣтства знаю я надъ собой эту власть струнъ.

Помню, какъ первый разъ ребенкомъ услышала я въ балетѣ въ Маріинскомъ театрѣ соло на арфѣ Цабеля. Я была такъ потрясена, что, вернувшись домой, ушла одна въ гостиную, обняла жесткую диванную подушку съ вышитой бисерной собачкой, и плакала, до боли прижимаясь лицомъ къ бисернымъ лапамъ. Я вѣдь не могла разсказать о неизъяснимомъ восторгѣ, о блаженной струнной тоскѣ, первый разъ зазвенѣвшей для меня въ земной моей жизни.

Звукъ струнный — это почти первая музыкальная радость человѣчества. Самая первая, конечно, свирѣль — у народовъ пастушескихъ. Но въ первой молитвѣ, въ первомъ храмѣ, всегда торжественно и входновенно пѣли струны...

Короткія арфы въ рукахъ у жрицъ Ассиріи, у египтянокъ...

«Начальнику хора. На струнныхъ орудіяхъ. На осьмиструнномъ. Псаломъ Давида»...

Потомъ лиры, лютни и, наконецъ, гитара. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый вѣка — все звенитъ, все поетъ и плачетъ гитарными струнами. Миннезингеры, менестрели, бродячіе поэты - музыканты разносятъ въ пѣсняхъ чары любви и кол

довство черной книги «Гримуара». И вся поэзія средневѣковой жизни идетъ въ сердца черезъ струны.

Въ дни самаго мрачнаго средневѣковья, когда тихіе затворники, пряча мысль свою, какъ тайную лампаду въ темныхъ кельяхъ монастырей, въ изступленныхъ мукахъ души, искали великій разумъ у жизни и за эту муку свою сгорали на кострахъ инквизиціи — тогда о радостяхъ земли знали только пѣсни, и несли ихъ пѣвцы - поэты съ гитарами въ рукахъ.

Въ Россіи гитара была хороша только у цыганъ. Русскій человѣкъ относился къ ней, какъ къ балалайкѣ: уныло подбиралъ лады и тренькалъ:

«Выйду-ль я на рѣченьку»...

Цыгане «мотивчика» не тренькаютъ. Они умѣютъ перебирать струны говоркомъ, давать вспышки, вскрики и сразу гасить бурный аккордъ ласковой, но властной ладонью.

У каждаго своя манера дотронуться до струны. И каждому она отвѣчаетъ иначе. И у нея бываютъ свои настроенія, и не всегда одинаково отзовется она даже на привычное ей касаніе.

— Болѣе сырой, болѣе сухой воздухъ — скажутъ мнѣ.

Можетъ быть. Но развѣ наши собственныя настроенія не зависятъ въ большой мѣрѣ отъ «сухости» окружающей среды?

Старая, пожелтѣвшая гитара, съ декой, тонкой и звонкой — сколько въ ней накоплено звуковъ, сколько эманацій отъ пѣсенно - касавшихся пальцевъ: такая гитара — дотроньтесь до нея! — сама поетъ и всегда въ ней найдется струна, настроенная созвучно какой-то вашей струнѣ, которая

отвѣтитъ страннымъ физическимъ тосклив0-страстнымъ ощущеніемъ въ груди, въ томъ мѣстѣ, гдѣ древніе предполагали душу...

*
**

Я не могла отдать свою гитару щучьей дѣвицѣ для увеселенія «больного элемента»

20.

Утромъ ко мнѣ зашелъ Смольяниновъ. Онъ былъ чѣмъ-то въ родѣ администратора на нашемъ кораблѣ. Въ прошлой своей жизни какъ будто сотрудникомъ «Новаго Времени». Въ точности не знаю.

— Знаете, — сказалъ онъ мнѣ, — кое-кто изъ пассажировъ выражаетъ неудовольствіе, что вы вчера рыбу не чистили. Говорятъ, что вы на привилегированномъ положеніи и не желаете работать. Нужно, чтобъ вы какъ-нибудь проявили свою готовность.

— Ну что-жъ, я готова проявить готовность.

— Прямо не знаю, что для васъ придумать... Не палубу же васъ заставить мыть.

— А-ахъ!

Мыть палубу! Розовая мечта моей молодости!

Еще въ дѣтствѣ видѣла я, какъ матросъ лилъ воду изъ большого шланга, а другой теръ палубу жесткой косо-срѣзанной щеткой на длинной палкѣ. Мнѣ подумалось тогда, что веселѣе ничего быть не можетъ. Съ тѣхъ поръ я узнала, что есть многое повеселѣе, но эти быстрыя крѣпкія брызги бьющей по бѣлымъ доскамъ струи, твердая невиданная щетка, бодрая дѣловитость матросовъ — тотъ, кто теръ щеткой, приговаривалъ «гэпъ!

гнать!» — осталось чудесной радостной картиной въ долгой памяти.

Вотъ стояла я голубоглазой дѣвочкой съ бѣлокурыми косичками, смотрѣла благоговѣйно на эту морскую игру и завидовала, что никогда въ жизни не дастъ мнѣ судьба этой радости.

Но добрая судьба пожалѣла бѣдную дѣвочку. Долго томила ее на свѣтѣ, однако, желанія ея не забыла .Устроила войну, революцію, перевернула все вверхъ дномъ и вотъ, наконецъ, нашла возможность — суетъ въ руки косую щетку и гонитъ на палубу.

Наконецъ-то! Спасибо, милая!

— А скажите — обращаюсь я къ Смольянинову, — у нихъ есть такая косая щетка? И воду будутъ лить изъ шланга?

— Какъ? — удивляется Смольяниновъ, — вы согласны мыть палубу?

— Ну, конечно! Ради Бога, только не передумайте. Бѣжимъ скорѣе...

— Да вы хоть переодѣньтесь

Переодѣваться то было не во что.

Вообще на «Шилкѣ» носили то, что не жалко, сохраняя платье для берега, такъ какъ знали, что купить уже будетъ негдѣ. Поэтому носили то, въ чемъ въ ближайшіе дни никакой надобности не предвидѣлось: какія-то пестрыя шали, бальныя платья, атласныя туфли.

На мнѣ были серебряные башмаки... Все равно въ нихъ по городу не пойдешь квартиру искать..

Поднялись наверхъ.

Смольяниновъ пошелъ, распорядился. Юнга притащилъ щетку, притянулъ шлангъ. Брызнула веселая вода на серебряные башмаки.

— Да вы только такъ... для виду, — шепталъ мнѣ Смольяниновъ... Только нѣсколько минутъ.

— «Гэпъ-гэпъ» — приговаривала я.

Юнга смотрѣлъ съ испугомъ и состраданіемъ.

— Разрѣшите мнѣ васъ замѣнить!

— «Гэпъ-гэпъ» —отвѣчала я. Каждому свое. Вы, навѣрное грузили уголь, а я должна мыть палубу. Да-съ. Каждому свое, молодой человѣкъ. Работаю и горжусь приносимой пользой.

— Да вы устанете! — сказалъ еще кто-то — Позвольте я за васъ.

Завидуютъ, подлыя души! — думала я, вспоминая мои далекія мечты. Еще бы, каждому хочется.

— Надежда Александровна! Вы и въ самомъ дѣлѣ переутомились, — говоритъ Смольяниновъ. Теперь будетъ работать другая смѣна.

И прибавилъ въ пол-голоса:

— Очень ужъ вы скверно моете.

Скверно? А я думала, что именно такъ, какъ матросикъ моего далекаго дѣтства.

— И потомъ ужъ очень у васъ довольное лицо, — шепчетъ Смольяниновъ. — Могутъ подумать, что это не работа, а игра.

Пришлось отдать щетку.

Обиженная, пошла внизъ. Проходя мимо группы изъ трехъ незнакомыхъ дамъ, услышала свое имя.

— Да, да, она, говорятъ, ѣдетъ на нашемъ пароходѣ.

— Да что вы!

— Я вамъ говорю — Гэффи ѣдетъ. Ну, конечно, не такъ, какъ мы съ вами: отдѣльная каюта, отдѣльный столъ и работать не желаетъ.

Я грустно покачала головой.

— Ахъ, какъ вы несправедливы! — сказала я съ укоромъ. — Я собственными глазами только что видѣла, какъ она моетъ палубу.

— Ее заставили мыть палубу? — воскликнула одна изъ дамъ. — Ну это уже черезчуръ!

— И вы видѣли ее?

— Видѣла, видѣла.

— Ну и что? Какъ?

— Такая длинная, истощенная, цыганскаго типа, въ красныхъ сапогахъ.

— Да что вы!

— А намъ никто ничего и не сказалъ!

— Это же, навѣрно, очень тяжелая работа?

— Ну, еще бы, — отвѣчала я. — Это вамъ не рыбу ножичкомъ гладить.

— Такъ зачѣмъ же она такъ?

— Хочетъ показать примѣръ другимъ.

— И никто намъ ни слова не сказалъ!

— А скажите, когда она еще будетъ мыть? Мы хотимъ посмотрѣть.

— Не знаю. Говорятъ, на завтра она записалась въ кочегарку. Впрочемъ, можетъ быть, это вранье.

— Ну, это уже было бы совсѣмъ черезчуръ, — пожалѣла меня одна изъ дамъ.

— Ну что-жъ, — успокоила ее другая. — Писатель долженъ многое испытать. Максимъ Горькій въ молодости нарочно пошелъ въ булочники.

— Такъ вѣдь онъ въ молодости-то еще не былъ писателемъ, — замѣтила собесѣдница.

— Ну, значитъ, чувствовалъ, что будетъ. Иначе зачѣмъ бы ему было идти въ булочники?

⁂

Поздно вечеромъ, когда я сидѣла одна въ нашей каютѣ - ванной, кто-то тихо постучалъ въ дверь.

— Можно?

— Можно.

Вошелъ неизвѣстный мнѣ человѣкъ въ военной формѣ. Окинулъ взглядомъ каюту.

— Вы одна? Вотъ и отлично.

И, обернувшись, позвалъ:

— Войдите, господа. Постороннихъ нѣтъ.

Вошли три-четыре человѣка. Между ними инженеръ О.

— Въ чемъ же дѣло? — спросилъ О. — О чемъ вы хотѣли говорить?

— Дѣло очень важно, — зашепталъ тотъ, который вошелъ первымъ, — насъ обманываютъ. Намъ говорятъ, что мы идемъ въ Севастополь, а между тѣмъ капитанъ держитъ курсъ на Румынію. Тамъ онъ выдастъ насъ большевикамъ.

— Что за бредъ? Почему въ Румыніи большевики?

— Бредъ ли это — вы узнаете слишкомъ поздно. Во всякомъ случаѣ, «Шилка» держитъ курсъ на Румынію. Намъ остается сдѣлать одно: сегодня же ночью идти къ капитану, уличить его и передать командованіе лейтенанту Ф. Этому человѣку мы можемъ вѣрить. Я его хорошо знаю, и кромѣ того онъ родственникъ одного очень извѣстнаго общественнаго дѣятеля. Итакъ, рѣшайте немедленно.

Всѣ молчали.

— Знаете что, господа, — сказала я.—Все это не провѣрено и очень неясно. И почему нельзя днемъ спросить попросту у капитана, отчего мы

не держимъ курсъ на Севастополь? А врываться къ нему ночью, — вѣдь это прямой бунтъ.

— Ахъ, вотъ вы какъ! — сказалъ коноводъ и зловѣще замолчалъ.

Въ полутемной каюткѣ шепчемся, какъ черные заговорщики. Надъ головами громыхаетъ рулевая цѣпь: это предатель маленькій капитанъ заворачиваетъ къ Румыніи. Прямо страничка изъ авантюрнаго романа.

— Да, согласился инженеръ О. — Мы лучше завтра разспросимъ .

И коноводъ неожиданно согласился.

— Да, пожалуй. Можетъ быть, такъ даже будетъ лучше.

Утромъ О. сказалъ мнѣ, что говорилъ съ капитаномъ и тотъ очень охотно и просто объяснилъ, что держалъ такой курсъ потому, что надо было обойти минныя поля.

Вотъ удивился бы бѣдный капитанъ, если бы мы вползли къ нему ночью съ кинжалами въ зубахъ...

Я видѣла потомъ лейтенанта Ф. Унылый, длинный неврастеникъ, онъ кажется даже и не зналъ, что его собирались провозгласить диктаторомъ. А можетъ быть, и зналъ... Онъ въ Севастополѣ оставилъ «Шилку».

21.

Жизнь входитъ въ свою колею.

Первые дни любительскихъ подвиговъ, когда полковникъ Щ., засучивъ рукава, мѣсилъ на палубѣ тѣсто для лепешекъ и золотой браслетъ позвякивалъ на его красивой бѣлой рукѣ, а рядомъ сидѣлъ извѣстный статистикъ Г. и громко высчитывалъ, сколько будетъ припеку на душу, на полдуши и на четверть, эти дни давно миновали.

Теперь продовольствіемъ завѣдывалъ поваръ, китаецъ Миша.

Миша былъ чахоточный старикъ, съ лицомъ удивленной старой дѣвы. Когда не было работы, отдыхалъ, сидя на корточкахъ, и курилъ особую трубку, пропуская дымъ черезъ воду. Что-то въ родѣ кальяна.

Другой китаецъ, молодой дурень, Акынъ, разсказывалъ, что Миша былъ еще недавно здоровый и сильный, но какъ-то очень разсердился и такъ долго и громко ругался, что «разорвалъ себѣ горло».

Былъ еще третій китаецъ — слуга и прачка.

Я заинтересовалась китайскимъ языкомъ?

— Акынъ, какъ по китайски «старикъ»?

— Тасаталика — отвѣчаетъ Акынъ.

— А какъ «стаканъ»?

— Тасатакана.

Удивительно, какъ китайскій языкъ созвученъ русскому.

— А какъ "капитанъ"?

— Тасакапитана.

Гм... очевидно, что слово остается почти безъ измѣненія

—А какъ «корабль»?

— Тасаколабля.

Чудеса!

— А «шапка»?

— Тасасапака.

Подошелъ мичманъ Ш.

— Учусь китайскому языку. Удивительно до чего онъ напоминаетъ русскій.

Мичманъ засмѣялся.

— Да, да, я слышалъ. Вѣдь онъ воображаетъ, что вы его заставляете учить русскія слова. Это онъ съ вами по русски говорилъ. И дуракъ же ты, Акынъ!

— Тасадулака! — охотно согласился китаецъ.

***

Однообразно шли дни.

Ѣли рисъ съ корнбифомъ. Пили отвратительную воду изъ опрѣснителя.

Прошлаго не вспоминали, о будущемъ не думали. Знали, что по всей вѣроятности дойдемъ до Новороссійска, а кто и что насъ тамъ встрѣтитъ — было неизвѣстно.

Предполагалось, что «Шилка» пойдетъ во Владивостокъ. Я очень на это надѣялась. Тамъ я встрѣтила бы своего друга М. Потомъ черезъ Сибирь могла бы вернуться въ Москву. Оставаться въ Новороссійскѣ совершенно не имѣло смысла. Да и что тамъ дѣлать?

Пока что бродила ночью по палубѣ. Постою съ лунной стороны, перейду на черную, на безлунную.

Привыкла къ пароходнымъ звукамъ и шумамъ. Лежа на своей узенькой скамеечкѣ въ ванной каютѣ, слушала какъ гремитъ рулевая цѣпь, какъ топочутъ ногами юнги, убирая палубу...

Пассажиры утряслись, какъ мѣшокъ съ картофелемъ, и каждый нашелъ свое мѣсто. Старый сановникъ, похожій на толстаго татарина, пристроился къ кругленькой учительницѣ изъ Кіева.

— Такъ вы продолжаете утверждать — говорилъ сановникъ крутымъ генеральскимъ басомъ — вы продолжаете утверждать, что вареники вкуснѣе ботвиньи?

И укоризненно качалъ головой.

— Ай-яй-яй! Неужели вы не понимаете, что творогъ вообще мерзость.

— Нѣтъ, вареники это очень вкусно — собирая губы бантикомъ, отвѣчала учительница. — Это вы нарочно, чтобы дразнить. Вы такой.

Что значило «такой» — неизвѣстно. Но сановнику было пріятно, и онъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ на круглую, какъ вишня, учительницу, съ туго закрученными косами и грязной малиновой лепточкой на шеѣ.

Инженеръ О. исполнялъ роль главнаго механика и сидѣлъ въ машинномъ отдѣленіи.

Вывезшій меня изъ Одессы В., впалъ въ меланхолію и съѣдалъ двойную порцію рису, въ который онъ настругивалъ, купленную въ Севастополѣ, каменную колбасу. Ѣлъ съ аппетитомъ и со слезами на глазахъ:

— Боюсь, что придется помирать съ голоду.

По вечерамъ выползала изъ трюма какая-то

графская горничная, куталась въ драгоцѣнную манильскую шаль, становилась у борта, подпиралась кулачкомъ, пригорюнивалась и тихо пѣла:

"Гори, гори, моя звѣзда,
Звѣзда любви, звѣзда разсвѣтная..."

Какъ-то на какой-то недолгой стоянкѣ оказалась бортъ о бортъ около насъ угольная баржа, черная — вся дымъ и сажа. Звали ее «Віолетта».

Закопченный, какъ ламповый фитиль, матросикъ съ этой «Віолетты» долго всматривался въ графскую горничную. Отходилъ отъ борта, снова подходилъ. Глазъ не могъ оторвать.

— Кажется, наша Травіата одержала побѣду — шутили пассажиры.

Но горничная была горда и на закопченнаго матросика не глядѣла.

«Гори, гори, моя звѣзда-а...»

Но когда «Віолетта» отчалила, матросикъ вдругъ перегнувшись, крикнулъ:

— Анюта! Вы?

Горничная оторопѣла, вскинула глаза. Губы у нея побѣлѣли.

— Господи! Да никакъ... ваше сіятельство!., Нашъ баринъ... Ей Богу!... что-же это...

И, обернувшись, растерянно говорила намъ:

— Кто же ихъ зналъ, гдѣ они. Я долго добро стерегла, да вонъ все равно все растащили.

Она мяла въ рукахъ драгоцѣнную шаль.

— Все какъ есть растащили. Да капочки.

*
**

Сколько дней мы плывемъ? Восемь? Десять? Кто-то сказалъ, что одиннадцать. Быть не можетъ!.

Днемъ, когда моя каютка - ванна пустѣетъ,

я лежу на узкой скамеечкѣ и думаю о томъ, какой тоненькій слой дерева и желѣза отдѣляетъ меня отъ синей холодной бездны. Ходятъ подо мной рыбы, кружатся клубками студенистыя медузы, уцѣпившись за глубокую подводную скалу, шевелитъ лапами крабъ — выпучилъ глаза и ворочаетъ ими, слѣдитъ за днищемъ нашего парохода: не свалится ли оттуда кто нибудь на завтракъ. Неужто не свалится? Неужто не найдется никого до предѣла своего дотосковавшаго? А тамъ еще глубже — камни, водоросли и еще какая нибудь усатая гадина шевелитъ щупальцами, ждетъ.

Говорятъ океанъ несетъ утопленниковъ къ берегамъ Южной Америки. Тамъ самое глубокое въ мірѣ мѣсто и тамъ на двухъ-трехверстной глубинѣ стоятъ трупы цѣлыми толпами. Соленая, крѣпкая вода хороша ихъ сохраняетъ и долгіе - долгіе годы колышатся матросы, рыбаки, солдаты, враги, друзья, дѣды и внуки — цѣлая армія. Не принимаетъ, не претворяетъ чужая стихія дѣтей земли...

Гляжу, закрывъ глаза, въ зеленую, прозрачную воду, глубоко подо мной. Плыветъ веселая стая мелкихъ рыбокъ. Плыветъ косякомъ. Ведетъ весь косякъ очевидно, какой нибудь рыбій мудрецъ и пророкъ. Какъ трепетно, покорно вся стайка мгновенно повинуется малѣйшему его движенію. Онъ вправо — всѣ вправо. Онъ назадъ — всѣ назадъ. А вѣдь стайка большая. Начни считать — штукъ шестьдесятъ. Кружатся, сигаютъ въ стороны, поворачиваютъ... Ой, рыбы, рыбы, а не дуракъ ли онъ этотъ вашъ передовой пророкъ и философъ?..

*
* *

Скоро придемъ въ Новороссійскъ.

Но никого это не радуетъ. Скорѣе тревожитъ.

Тѣ, у кого тамъ родные, тоже не радуются. Неизвѣстно — застанутъ ли ихъ и неизвѣстно — что за это время съ ними произошло.

На «Шилкѣ» кое-какъ наладили радіо - станцію. Но сговориться пока что она ни съ кѣмъ не смогла. Такъ и плыли мы въ неизвѣстность, злую ли, добрую ли, и того не знали.

Скучные стали дни, долгіе...

«Къ мысу радости, къ скаламъ печали ли
Къ островамъ ли сиреневыхъ птицъ —
Все равно — гдѣ бы мы ни причалили
Не поднять мнѣ тяжелыхъ рѣсницъ...
Мимо стеклышка иллюминатора
Проплывутъ золотые сады,
Пальмы тропиковъ, солнце экватора,
Голубые полярные льды...
Все равно.,,»

Какъ странно было мнѣ услышать эти оборванныя строчки черезъ нѣсколько лѣтъ съ эстрады Саль Гаво, принаряженныя, переложенныя на музыку...

Словно я закупорила ихъ въ засмоленную бутылку, бросила въ море — и вотъ понесли волны эту бутылку, прибили къ далекимъ счастливымъ берегамъ и тамъ ее подобрали, раскупорили, созвали народъ и прочли SOS всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ...

«Все равно, гдѣ бы мы ни причалили,
Не поднять мнѣ тяжелыхъ рѣсницъ»...

22.

Рано утромъ разбудилъ меня ревъ сирены.

— Что-то тамъ наверху дѣлается?..

Поднялась на палубу — картина совершенно неожиданная и невиданная: сѣрый жемчужный туманъ густой, недвижный, охватилъ меня сразу, отдѣлилъ отъ міра. Сдѣлала нѣсколько шаговъ и уже не могла найти лѣстницу по которой поднялась. Протянула руки и не видѣла собственныхъ пальцевъ.

А сирена ревѣла тревожно, и весь пароходъ дрожалъ мелкой дрожью.

— Стоимъ ли мы на мѣстѣ или идемъ?

Какіе-то голоса, неясные точно ихъ окуталъ туманъ, раздавались недалеко отъ меня. Но въ общемъ какая-то необычайная тихость, сонъ, облачное сновидѣніе.

Я не знала — одна я на палубѣ или около меня люди. Можетъ быть, всѣ пассажиры собрались здѣсь гдѣ-нибудь за этой ревущей трубой, а я думаю, что я одна.

Я сдѣлала нѣсколько шаговъ и наткнулась на какую-то ограду. Вытянула руки, ощупала — бортъ. Я стою у борта, а тамъ за нимъ — жемчужная бездна.

И вдругъ, прямо передъ моимъ лицомъ заколыхался туманъ, поплылъ быстро, какъ театраль-

ная декоративная кисея, раздернулся въ разныя стороны и — странный сонъ — ярко-красныя фески, близко, близко отъ меня, я бы могла достать ихъ рукой — черныя рожи, глаза, какъ крутое яйцо съ желтымъ пинекомъ, яростной улыбкой оскаленные зубы. Я даже отшатнулась. Для нихъ этотъ разорвавшійся туманъ, видно, тоже былъ чудомъ. Они кинулись къ борту, замахали руками, загалдѣли что-то въ родѣ:

— Гюзель Каре! Каре гюзель!..

Еще и еще красныя фески, бѣлки, руки, зубы...

И вдругъ это маленькое «окошко въ Африку» помутнѣло потускнѣло и мгновенно задернулось наплывшимъ туманомъ.

— Ч-чортъ! — раздался голосъ около меня. — Едва не наскочили...

Ревѣла сирена, и дрожалъ пароходъ тихой мелкой дрожью.

*
* *

Подходимъ къ Севастополю. Подходимъ робко.

Встрѣтили лодку, помахали ей тряпкой, побесѣдовали, разспросили и не повѣрили. Встрѣтили другую. Опять побесѣдовали. Наконецъ, — дѣлать нечего, все равно надо было брать уголь — вошли въ гавань.

Въ городѣ оказалось тихо. Городъ былъ въ рукахъ бѣлыхъ.

Половина нашихъ пассажировъ выгрузилась.

Остальные пошли бродить по улицамъ. Передавали другъ другу, волнующія вѣсти:

— Нашли сапожный магазинъ и въ немъ четыре пары замшевыхъ туфель. Три огромныя, а одна совсѣмъ крошечная.

Дамы побѣжали примѣрять. Я, конечно, тоже.

Дѣйствительно, три пары гигантскихъ, одна крошечная.

— Гдѣ вы такія ноги видали? — спрашиваю у сапожника.

—За то посмотрите какой товаръ хорошій! И фасончикъ — прямо ножка смѣется!

— Да, вѣдь, эти огромныя, а тѣ не влѣзутъ. Какъ же быть?

— А вы купите двѣ парочки, вотъ и будетъ ладно. Одна, значитъ, большая, другая маленькая, вотъ выйдетъ середина на половину.

Хорошо торговалъ севастопольскій сапожникъ!

Городъ былъ пыльный, унылый, обтрепанный.

Побродили и вернулись на «Шилку». Знали, что уголь грузятъ спѣшно и сразу отойдутъ.

Пароходъ опустѣлъ. Но передъ самымъ отходомъ принялъ новыхъ уже «казенныхъ пассажировъ»: цѣлый отрядъ военной молодежи, охранявшей крымскіе дворцы. Доставить ихъ надо было на кавказскій антибольшевицкій фронтъ.

Красивые, нарядные мальчики весело переговаривались, картавили по-французски, пѣли французскія пѣсенки. Размѣстились на палубѣ.

А въ трюмъ сѣрой, пыльной, войлочной волной, гремя штыками и манерками, вкатился отрядъ боевой обстрѣлянной пѣхоты.

Оба эти отряда не смѣшивались и какъ бы не замѣчали другъ друга.

Наверху перекликались веселые голоса.

— Ou es tu, mon vieux?

— Коко, гдѣ Вова?

— Кто пролилъ мой одеколонъ?

Пѣли: «rataplan-plan-plan...»

Снизу поднимались, погромыхивая жестяной кружкой, на камбузъ за кипяточкомъ, усталые сѣрые люди, подтягивали какіе-то рваные ремешки, шлепали оборванными подметками, опустивъ глаза, пробирались, громыхая сапожищами мимо лакированной молодежи.

Но бѣдную лакированную молодежь ждала очень горькая участь тамъ, на фронтѣ, Многіе встрѣтили смерть нарядно. Храбро и весело. Для многихъ этотъ «rataplan» былъ послѣдней пѣсенкой.

Среди этой молодежи былъ одинъ съ поразительно красивымъ голосомъ. Онъ долго, до глубокой ночи пѣлъ... Говорили, что это племянникъ пѣвца Смирнова...

Къ ночи стало слегка покачивать.

Я долго стояла одна на палубѣ.

Обрывки пѣсенъ, веселый говоръ и смѣхъ доносились изъ «салона».

⁂

Сѣрая, войлочная, пыльная команда давно затихла въ трюмѣ. Они не веселились. Они уже слишкомъ многое видѣли и узнали, чтобы смѣяться. Спали крѣпко, «дѣловито», какъ крестьянинъ во время страды, которому сонъ нуженъ и важенъ, потому что даетъ силы для новаго тяжкаго дня.

Поскрипывала, покачивалась «Шилка». Черная волна ударяла упруго и глухо. Разбивала ритмъ пѣсни, чужая этому маленькому веселому огоньку, свѣтящему изъ окна салона въ темную ночь. Своя глубокая и страшная жизнь, своя невѣдомая намъ сила и воля. Не зная насъ, не видя, не понимая — подниметъ, броситъ, повлечетъ погубитъ — сти-хі-я.

Большая звѣзда вздулась костромъ, бросила на море золотую, ломанную дорожку, словно маленькая луна.

— Это Сиріусъ — произнесъ около меня голосъ.

Мальчишка кочегаръ.

Глаза, бѣлые отъ замазаннаго сажей лица, напряженно смотрятъ въ небо. Черезъ открытый воротъ бурой отъ грязи рубашки виденъ мѣдный крестикъ на замызганномъ гайтанчикѣ.

— Это Сиріусъ.

— Вы знаете звѣзды? — спросила я.

Онъ замялся.

— Немножко. Я плаваю... я кочегаръ,,, на пароходѣ вѣдь часто приходится посматривать на небо.

— Изъ кочегарки?

Онъ оглянулся кругомъ

— Ну, да. Я кочегаръ. Не вѣрите?

Я взглянула на него. Дѣйствительно — почему же не вѣрить? Рука съ обломанными черными ногтями, этотъ мѣдный крестикъ...

— Нѣтъ, я вѣрю.

Черныя волны съ острыми бѣлыми рыбьими гребешками плыли v борта, хлюпали, шлепали по пароходу лѣниво и злобно. Погасла дорожка Сиріуса, начался мелкій дождикъ.

Я отошла отъ борта.

— Надежда Александровна! — тихо окликнулъ меня кочегаръ.

Я остановилась.

— Откуда вы меня знаете?

Онъ снова оглянулся кругомъ и заговорилъ совсѣмъ тихо:

— Я былъ у васъ на Бассейной. Меня пред-

ставилъ вамъ мой товарищъ, лицеистъ Севастьяновъ. Помните? Говорили о камняхъ, о желтомъ сапфирѣ...

— Да... чуть-чуть вспоминаю...

— Здѣсь никто не знаетъ, кто я. Даже тамъ въ кочегаркѣ. Я плыву уже третій разъ. Третій рейсъ. Всѣ мои погибли. Отецъ скрылся. Онъ мнѣ сказалъ: ни на одну минуту не забывать, что я кочегаръ. Только тогда я смогу уцѣлѣть и сдѣлать благополучно то, что мнѣ поручено. И вотъ плыву уже третій разъ и долженъ опять вернуться въ Одессу.

— Тамъ уже укрѣпятся большевики.

— Вотъ тогда мнѣ туда и нужно. Я заговорилъ съ вами потому, что былъ увѣренъ, что вы узнаете меня. Я вамъ вѣрю и даже думаю, что вы нарочно притворяетесь, что не узнали меня, чтобы не встревожить. Неужели такъ хоротъ мой гримъ?

— Поразительный. Я и сейчасъ увѣрена, что вы самый настоящій кочегаръ, а только въ шутку упомянули о Севастьяновѣ.

Онъ усмѣхнулся.

— Спасибо вамъ.

Онъ нагнулся, быстро поцѣловалъ мнѣ руку и шмыгнулъ къ трапу.

Маленькое пятнышко сажи осталось у меня на рукѣ.

Да. Петербургъ. Вечера. Томныя, нервныя дамы, рафинированная молодежь. Столъ, убранный бѣлой сиренью. Бесѣда о желтомъ сапфирѣ...

Что говорилъ о желтомъ сапфирѣ этотъ худенькій, картавый мальчикъ?

Сколько еще рейсовъ сдѣлаетъ онъ съ мѣднымъ крестикомъ на замызганномъ гайтанчикѣ? Одинъ? Два? А потомъ прижметъ усталыя плечи

къ каменной стѣнкѣ чернаго подвала и закроетъ глаза...

Темное пятнышко угольной сажи осталось на моей рукѣ.

И все...

23.

И вотъ другая ночь. Тихая, темная.

Вдали полукругомъ береговые огоньки,

Какая тихая ночь!

Стою долго на палубѣ, вслушиваюсь въ тишину и все кажется мнѣ, что несется съ темныхъ береговъ церковный звонъ. Можетъ быть, и правда звонъ... Я не знаю далеки ли эти берега, Только огоньки видны.

— Да, благовѣсть — говоритъ кто-то рядомъ.

— По водѣ хорошо слышно.

— Да — отвѣчаетъ кто-то. — Сегодня вѣдь пасхальная ночь.

Пасхальная ночь!

Какъ мы всѣ забыли время, не знаемъ, не понимаемъ своего положенія ни во времени, ни въ пространствѣ.

Пасхальная ночь!

Этотъ далекій благовѣстъ, по волнамъ морскимъ дошедшій до насъ, такой торжественный, густой и тихій до таинственности, точно искалъ насъ, затерянныхъ въ морѣ и ночи, и нашелъ, и соединилъ съ храмомъ, въ огняхъ и пѣніи, тамъ на землѣ, славящимъ Воскресеніе.

Этотъ съ дѣтства знакомый торжественный гулъ святой ночи охватилъ души и увелъ далеко,

мимо криковъ и крови въ простые, милые дни дѣтства...

Младшая моя сестра Лена... Она всегда была со мной рядомъ, мы вмѣстѣ расли. Всегда у своего плеча видѣла я ея круглую розовую щеку и круглый сѣрый глазъ.

Когда мы ссорились, она била меня своимъ крошечнымъ и мягкимъ, какъ резиновый комочекъ, кулакомъ и сама, въ ужасѣ отъ своего звѣрства, плакала и повторяла:

Я вѣдь тебя убить могу!

Она вообще была плакса. И когда я принималась рисовать ея портретъ (я въ пять лѣтъ чувствовала большое влеченіе къ живописи, которое впослѣдствіе сумѣли изъ меня вытравить), то, прежде всего, рисовала круглый открытый ротъ, затушевывала его чернымъ, а потомъ уже пририсовывала глаза, носъ и щеки. Но это все были уже совершенно незначущіе аксессуары. Главное — разинутый ротъ. Онъ передавалъ великолѣпно сущность физическую и моральную моей модели...

Лена тоже рисовала. Она всегда дѣлала то же, что я. Когда я хворала и мнѣ давали лѣкарство, то и ей должны были накапать въ рюмочку воды.

— Ну, что, Ленушка, лучше ли тебѣ?

— Да, слава Богу, какъ будто немножко легче — со вздохомъ отвѣчала она.

Да, Лена тоже рисовала, но пріемъ у нея былъ другой. Рисовала она няню и начинала съ того, что старательно проводила четыре горизонтальныхъ параллельныхъ черточки.

— Это что же такое?

— Это морщины на лбу.

Къ этимъ морщинамъ потомъ двумя, тремя

штрихами пририсовывалась вся пянюшка. Но очень было трудно вывести правильныя черточки для морщинъ и Лена долго сопѣла и портила листъ за листомъ.

Лена была плакса.

Помню ужасный, позорный случай.

Я уже цѣлый годъ училась въ гимназіи, когда Лену отдали въ младшій приготовительный.

И вотъ, какъ то, стоитъ нашъ классъ на лѣстницѣ и ждетъ своей очереди спуститься въ переднюю. Малыши приготовишки только что прошли впередъ.

И вдругъ, вижу — маленькая фигурка, со стриженнымъ хохолкомъ на лбу, волоча тяжелую сумку съ книгами, испуганно пробирается около стѣнки и не смѣетъ пройти мимо насъ.

...Лена!

Наша классная дама подошла къ ней:

— Какъ ваша фамилія?

— Вы изъ какого класса?

Лена подняла на нее глаза съ выраженіемъ самаго нечеловѣческаго ужаса, нижняя губа у нея задрожала и, не отвѣчая ни слова, она втянула голову въ плечи, затрясла хохолкомъ, подхватила свою сумку и съ громкимъ плачемъ побѣжала по лѣстницѣ, маленькій, несчастный катышъ!

— Какая смѣшная дѣвочка! — засмѣялась классная дама.

А я! Что я переживала въ этотъ моментъ! Я закрыла глаза, спряталась за спину подруги.... Какой позоръ! Вдругъ, классная дама узнаетъ, что это моя сестра! Которая реветъ вмѣсто того, чтобы отвѣтить просто и благородно: — «Изъ младшаго приготовительнаго» — и сдѣлать реверансъ. Какой позоръ!

...Гудитъ пасхальный звонъ, теперь уже совсѣмъ ясный.,,

Помню, въ старомъ нашемъ домѣ, въ полутемномъ залѣ, гдѣ хрустальныя подвѣски люстръ сами собой, тихо дрожа, звенѣли, стояли мы рядомъ, я и Лена и смотрѣли въ черное окно, слушали благовѣстъ. Намъ немножко жутко оттого, что мы одни и оттого еще, что сегодня такъ необычно и торжественно ночью гудятъ колокола, и что воскреснетъ Христосъ.

— А отчего — говоритъ Лена — отчего ангелы сами не звонятъ?

Я вижу въ полутьмѣ ея сѣрый глазокъ, блестящій и испуганный.

— Ангелы только въ послѣдній часъ приходятъ — отвѣчаю я, и сама боюсь своихъ словъ...

Отчего въ эту, ротъ, въ эту пасхальную ночь, пришла ко мнѣ за тысячи верстъ, въ темное море, сестра моя, пришла маленькой дѣвочкой, какой я больше всего любила ее, и встала около меня?

Я не знаю почему...

Я узнаю только черезъ три года, что въ эту ночь за тысячи верстъ отъ меня, въ Архангельскѣ, умирала моя Лена...

*
**

Пришли въ Новороссійскъ.

Какой огромный портъ!

Молъ за моломъ, безъ числа.

Всюду, какъ шеи гигантскихъ черныхъ журавлей, вздымаются подъемные краны. Безконечные амбары, сараи, склады.

На молахъ и на набережной — народъ.

Сначала показалось, что это пассажиры ждутъ парохода. Но, побродивъ между ними, увидѣла,

что они не ждутъ, а просто живутъ здѣсь. Устроили изъ лохмотьевъ и корзинокъ палатки, развѣсили рваное барахло, обжились и живутъ.

Старухи тутъ же на жаровняхъ жарятъ какіе-то огрызки.

Полуголыя дѣти играютъ стеклышками отъ бутылокъ и бараньими костями. Всѣ черномазые, со взбитой черной шерстью на головѣ.

Передъ каждой палаткой привязанъ къ жердочкѣ пучкомъ или гирляндой чеснокъ.

Это все бѣженцы - армяне. Сидятъ въ Новороссійскѣ уже давно. Куда ихъ двинутъ — не знаютъ. Въ городѣ свирѣпствуетъ сыпной тифъ. И среди этихъ бѣженцевъ много больныхъ. И дѣти мрутъ отъ лихорадки. Эти пучки чесноку привязаны, чтобы отгонять заразу. Запаха чесноку очень не любятъ привидѣнія, вампиры, оборотни и разныя болѣзни. И тѣхъ и другихъ, и третьихъ я отлично понимаю.

Странная жизнь этихъ бѣженцевъ!

Откуда то ихъ выгнали, куда то погонятъ. Имущества — три лохмота и сковородка. А живутъ ничего себѣ. Ни уныпія, ни даже нетерпѣнія незамѣтно.

Перебраниваются, смѣются, бродятъ вдоль всего лагеря другъ къ другу въ гости, шлепаютъ ребятъ. Кое-кто даже торгуетъ сушеной рыбой и пресованной бараньей колбасой.

Мальчишка свиститъ въ глиняную свистульку и двѣ дѣвочки, обнявшись, пляшутъ .

Никто не ропщетъ, не волнуется, не пристаетъ съ разспросами. Принимаютъ эту жизнь, какъ нормальный человѣческій бытъ.

Вотъ одна женщина въ драномъ, но шелковомъ платьѣ, очевидно, была еще недавно бога-

той, показываетъ сосѣдкѣ, какъ она натянула на веревку свою шаль. И очень довольна, что такъ хорошо все устроила. Вотъ, если бы только шаль на одну четверть (показываетъ много разъ ладонью сколько именно надо) да, ровно на одну четверть была подлиннѣе, такъ совсѣмъ бы закрывала ихъ палатку.

Вотъ только этой четверти и не хватаетъ для полнаго комфорта.

Да. Все познается сравненіемъ. Сосѣдка не можетъ не завидовать. У нея только гирлянда чесноку защищаетъ жилище отъ вампировъ, заразы и постороннихъ взглядовъ.

*
* *

Иду въ городъ. Тамъ уже бродятъ безпастушными стадами наши шилкинскіе пассажиры. Ищутъ знакомыхъ, узнаютъ насчетъ квартиръ, насчетъ цѣнъ и, главное, насчетъ большевиковъ.

Тутъ впервые услышали мы слово «зеленые».

Зеленые были новые, не совсѣмъ понятные — изъ бѣлыхъ или изъ красныхъ образовался этотъ новый цвѣтъ...

— Они тамъ. За Геленджикомъ, — показывали намъ на высокія бѣлыя горы съ правой стороны бухты.

— Они никого не трогаютъ...

Какъ они тамъ живутъ? Почему и отъ кого прячутся?

— Къ нимъ и офицеры уходятъ.

Унылыми сѣрыми группами стоятъ на углахъ и перекресткахъ наши шилкинцы и уныло плетутъ ерунду

—Что, господа — раздается дѣловитый басъ. — Ясное дѣло — надо ѣхать въ Трапезундъ.

— Въ Трапе-зу-идъ?

— Ну, конечно, господа. Тамъ, говорятъ, масло очень дешево.

— Ни малѣйшаго смысла. Черезъ недѣлю, максимумъ черезъ двѣ, большевики уйдутъ, а отсюда намъ, все-таки, ближе двинуть домой.

Но любитель масла не сдавался.

— Отлично, — говоритъ онъ. — Пусть черезъ двѣ недѣли. Но лучше же эти двѣ недѣли прожить пріятно, чѣмъ чортъ знаетъ какъ.

— Пока доберетесь, пока то да се... Не успѣемъ мы вашимъ деневымъ масломъ и буттербродъ намазать, какъ придется выбираться.

— Но куда же дѣваться?

Въ другихъ группахъ говорили о тифѣ. Говорили, что весь городъ въ паникѣ. Люди мрутъ, какъ мухи.

Въ аптекахъ продавали какія-то патентованныя средства, мази, жидкости и даже ладонки, предохраняющія отъ заразы.

Совѣтовали туго завязывать концы рукавовъ вокругъ руки, чтобы ничто не могло заползти.

Настроеніе въ городѣ было унылое.

24.

Да, Новороссійскъ былъ тогда очень унылымъ городомъ.

Долго болтались мы изъ дома въ домъ, справлялись о квартирахъ. Все было занято, всѣ комнаты и углы биткомъ набиты.

Встрѣтила даму съ «Шилки», бывшую фрейлину.

— Мы сравнительно очень недурно устроились, — сказала она. — Нашли комнату, хозяйка положила на полъ нѣсколько матрацовъ. Въ общемъ насъ тамъ будетъ одиннадцать человѣкъ, причемъ двое совсѣмъ маленькихъ дѣтей, такъ что ихъ собственно говоря и считать нечего въ смыслѣ жилищной площади. Конечно, они, вѣроятно, будутъ плакать, эти дѣти, но всетаки въ общемъ это не хуже, чѣмъ на «Шилкѣ» и вдобавокъ намъ не угрожаетъ качка.

Дама боялась качки больше всего на свѣтѣ. Но «Шилку» упрекнуть было нельзя: насъ покачало только одинъ разъ и то немножко, несмотря на то, что я была въ числѣ пассажировъ. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ какая-бы тихая погода ни была, достаточно было мнѣ поставить ногу на пароходъ, чтобы началась качка.

И на какихъ только моряхъ меня не качало! На Балтійскомъ, на Каспійскомъ, на Азовскомъ,

на Черномъ, на Бѣломъ, на Средиземномъ, на Мраморномъ, на Адріатическомъ... Да что говорить о морѣ! Даже на получасовомъ переходѣ изъ Санъ-Женгольфа въ Монтре по Женевскому озеру поднялась такая качка, что всѣ пассажиры заболѣли.

Это свойство мое вызывать бурю лично меня не особенно огорчаетъ. Я люблю грозу на морѣ и сильно отъ нея не страдаю. Но въ средніе вѣка, пожалуй, за эту мою особенность меня очень серьезно сожгли бы на кострѣ.

Помню какъ разъ пострадалъ, не повѣрившій въ мою силу, орловскій помѣщикъ.

Нужно мнѣ было проѣхать изъ Севастополя въ Ялту, и этотъ самый орловскій помѣщикъ галантно вызвался меня проводить, чтобы позаботиться обо мнѣ во время пути. Я его сердечно поблагодарила, но сочла долгомъ предупредить:

— Будетъ качка.

Помѣщикъ не повѣрилъ: море, какъ зеркало, на небѣ ни облачка.

— Увидите! — мрачно сказала я, но онъ только пожалъ плечами. Погода дивная, да и къ тому же онъ всегда геройски переноситъ качку. Со мной, конечно, придется повозиться, а за себя то ужъ онъ отвѣчаетъ.

— Ну что же, тѣмъ лучше.

Сѣли на пароходъ.

Всѣ пассажиры радовались дивной погодѣ, но капитанъ неожиданно сказалъ:

— Идемте-ка скорѣй завтракать. Вотъ какъ обогнемъ маякъ, пожалуй, насъ слегка покачаетъ.

Я выразительно посмотрѣла на помѣщика.

— Ну, что-жъ, — сказалъ онъ. — За себя лично я не боюсь. А за вами я понаблюдаю.

За завтракомъ мой помѣщикъ совсѣмъ разошелся: давалъ всѣмъ совѣты, какъ нужно сидѣть,

и какъ нужно лежать, и о чемъ нужно думать, и какъ сосать лимонъ и жевать корку съ солью, и упираться затылкомъ, и стараться выгнуть спину, и чего-чего только не было.

Я даже удивилась, что такой сухопутный человѣкъ вдругъ въ такихъ морскихъ дѣлахъ оказывается совѣмъ свой человѣкъ.

Пассажиры слушали его съ интересомъ и уваженіемъ. Спрашивали совѣтовъ. Онъ охотно отвѣчалъ, толково и подробно. Я, конечно, хотя и удивлялась, но слушала тоже очень внимательно. Ужъ кому, кому, а мнѣ указаніями этого опытнаго человѣка пренебрегать не слѣдовало.

Такъ какъ больше всего онъ подчеркивалъ, что при легкой качкѣ слѣдуетъ держаться на палубѣ, то я сразу послѣ завтрака и поднялась туда. Помѣщикъ послѣдовалъ за мною.

Капитанъ оказался правъ: мы обошли маякъ и сразу пароходъ нашъ пошелъ верблюжьей походкой, ныряя носомъ и поднимая поочереди то правый, то лѣвый бортъ.

Я весело разговаривала, держась за перила. Смотрѣла на горизонтъ, гдѣ въ сизыхъ облакахъ поблескивала, еще далекая, молнія, дышала влажнымъ солепымъ вѣтромъ.

Но вотъ, — два, три моихъ вопроса остались безъ отвѣта. Обернулась — пусто. Мой помѣщикъ скрылся. Чтобы это значило? Немногіе пассажиры, появившіеся со мной послѣ-завтрака, ушли тоже. И тутъ я почувствовала, что у меня сильно кружится голова.

Надо лечь.

Идти оказалось довольно трудно, и я кое-какъ спустился по лѣстницѣ, держась двумя руками за перила. Внизу, въ общей дамской каютѣ, всѣ мѣста уже были заняты. Всѣ пассажирки лежали.

Я разыскала пустой уголокъ и кое-какъ примостилась, положивъ голову на чей-то чемоданъ.

Но куда же исчезъ мой помѣщикъ? Вѣдь выѣхалъ спеціально, чтобы позаботиться обо мнѣ въ дорогѣ. Вотъ бы теперь сбѣгалъ бы за лимономъ или хоть досталъ бы подушку.

Лежу, удивляюсь, вспоминаю его совѣты и наставленія.

Въ эту большую каюту выходило шесть дверей изъ отдѣльныхъ дамскихъ каютокъ. Всѣ эти каютки были заняты, и я рѣшила, что останусь тамъ, гдѣ я была и постараюсь заснуть.

И вдругъ дверь распахивается и влетаетъ мой помѣщикъ.

Безъ шляпы, видъ дикій, глаза блуждаютъ...

— Вы меня ищете? — крикнула я. — Я здѣсь!..

Но онъ не слышалъ. Онъ рванулъ дверь одной изъ каютокъ и всунулъ туда голову. Раздался дикій визгъ, какой-то козлиный ревъ и дверь захлопнулась снова .

— Это онъ меня ищетъ! — подумала я и закивала ему головой.

Но онъ не видѣлъ меня. Онъ кинулся ко второй каюткѣ, опять рванулъ дверь и всунулъ голову. И снова козлиный ревъ и дикій визгъ. Я даже разобрала визжащія слова:

— «Что за безобразіе!..»

И опять онъ выскочилъ и дверь захлопнулась..

— Онъ думаетъ, что я въ одной изъ этихъ каютъ... Николай Петровичъ! Я здѣсь!

Но онъ уже подскочилъ къ третьей каюткѣ и, всунувъ въ нее голову, вопилъ козлинымъ ревомъ что-то непонятное и женскіе голоса визжали про «безобразіе».

— Что съ нимъ, — думала я, — чего онъ

блеетъ, какъ козелъ. Могъ бы постучать и спросить...

Но тутъ онъ сунулъ голову въ четвертую каютку, которая была поближе ко мнѣ, и отскочилъ, отшвырнутый чьими-то руками, остановился растерянный и страшный и завопивъ:

— «Да гдѣ же это, наконецъ, чортъ возьми!» — кинулся къ пятой двери.

Тутъ я все поняла и, спрятавъ лицо въ шарфъ, сдѣлала видъ, что сплю.

Мои сосѣдки стали волноваться и возмущаться:

— Безобразіе! Открывать двери въ дамскія каюты и такъ...

— Этотъ господинъ, кажется, съ вами ѣдетъ? — спросила меня одна изъ пассажирокъ.

— Ничего подобнаго, — удивленно и обиженно отвѣтила я. — Вижу его первый разъ.

Она, кажется, мнѣ не повѣрила, но поняла, что отъ такого спутника нельзя не отречься.

Навѣстивъ, такимъ образомъ, всѣ шесть каютъ подрядъ и, сопровождаемый криками возмущенія и визгомъ негодованія, онъ пулей выскочилъ въ коридоръ.

Когда мы подошли къ Ялтѣ, я встрѣтила его около сходней.

— Вотъ вы гдѣ! — неестественно бодро сказалъ онъ, — А я васъ искалъ весь день на палубѣ. На палубѣ было чудесно! Этотъ просторъ, эта мощь, ни съ чѣмъ не сравнимая! Красота! Стихія! Нѣтъ — я прямо словъ не нахожу. Я все время въ какомъ-то экстазѣ простоялъ на палубѣ. Конечно, не всякій можетъ. Изъ всего парохода, по правдѣ говоря, только я да капитанъ держались на ногахъ. Даже помощникъ капитана, опытный морякъ, однако, сдрейфилъ. Н-да. Всѣ пассажиры въ лежку. Очень пріятный, свѣжій переходъ.

— А я взяла себѣ отдѣльную каюту, — сказала я, стараясь не смотрѣть на него.

— Я такъ и зналъ, что съ вами будетъ возня, — пробормоталъ онъ, стараясь не смотрѣть на меня...

25.

Какое очарованіе души увидѣть среди голыхъ скалъ, среди вѣчныхъ снѣговъ у края холоднаго мертваго глетчера, крошечный бархатистый цвѣтокъ — эдельвейсъ. Онъ одинъ живетъ въ этомъ царствѣ ледяной смерти. Онъ говоритъ: «не вѣрь этому страшному, что окружаетъ насъ съ тобой. Смотри — я живу».

Какое очарованіе души, когда на незнакомой улицѣ чужого города, къ вамъ, безпріютной и усталой, подойдетъ неизвѣстная вамъ дама и скажетъ уютнымъ кіево-одесскимъ (а, можетъ быть, и харьковскимъ) говоркомъ:

— Здравствуйте! Ну! Что вы скажете за мое платье?

Вотъ такъ бродила я по чужому мнѣ Новороссійску, искала пристанища и не находила, и вдругъ подошла ко мнѣ неизвѣстная дама и сказала вѣчноженственно:

— Ну, что вы скажете за мое платье?

Видя явное мое недоумѣніе, прибавила:

— Я васъ видѣла въ Кіевѣ. Я Серафима Семеновна.

Тогда я успокоилась и посмотрѣла на платье. Оно было изъ какой-то удивительно скверной кисеи.

— Отличное платье, — сказала я. — Очень мило.

— А знаете, что это за матерія? Или вы во-

ображаете, что здѣсь вообще можно достать какую-нибудь матерію? Здѣсь даже ситца ни за какія деньги не найдете. Такъ вотъ эта матерія — это аптечная марля, которая продавалась для перевязокъ.

Я не очень удивилась. Мы въ Петербургѣ уже шили бѣлье изъ чертежной кальки. Какъ то ее отмачивали и получалось что-то въ родѣ батиста.

—Конечно, она, можетъ быть, не очень прочная — продолжала дама — немножко задергивается, но не дорогая и широкая. Теперь уже такой не найдете — всю расхватали. Осталась только іодоформенная но та, хотя и очень краснаго цвѣта, однако, плохо пахнетъ.

Я выразила сочувствіе.

— А знаете, моя племянница, — продолжала дама, — купила въ аптекѣ перевязочныхъ бинтовъ — очень хорошенькіе съ синей каемочкой — и отдѣлала ими вотъ такое платье. Знаете — нашила такія полоски на подолъ и, право, очень мило. И гигіенично — все дезинфецировано.

Милое, вѣчно-женственое! Эдельвейсъ, живой цвѣтокъ на ледяной скалѣ глетчера. Ничѣмъ тебя не сломить! Помню въ Москвѣ, когда гремѣли пулеметы и домовые комитеты попросили жильцовъ центральныхъ улицъ спуститься въ подвалъ, вотъ такой-же эдельвейсъ — Серафима Семеновна, въ подпольѣ подъ плачъ и скрежетъ зубовный, грѣла щипцы для завивки надъ жестяночкой, гдѣ горѣла за неимѣніемъ спирта какая-то смрадная жидкость противъ паразитовъ.

Такой же эдельвейсъ бѣжалъ подъ пулеметнымъ огнемъ въ Кіевѣ купить кружева на блузку. И такой же сидѣлъ въ одесской парикмахерской, когда толпа въ паникѣ осаждала пароходы.

Помню мудрыя слова:

— Ну да, всѣ бѣгутъ. Такъ, вѣдь, все равно,

не побѣжите же вы не причесанная безъ ондюла сьона?!

Мнѣ кажется, что во время гибели Помпеи кое-какіе помпейскіе эдельвейсы успѣли наскоро сдѣлать себѣ педикюръ...

Умиротворенная этими мыслями, я спросила у непзвѣстной мнѣ Серафимы Семеновны насчетъ комнаты.

— Есть одна, недурная, только тамъ вамъ будетъ неуютно.

— Пустяки. Что ужъ тутъ можетъ быть неуютнаго. Гдѣ ужъ тутъ выбирать и разбирать!

— Все-таки я вамъ совѣтую немножко обождать. Тамъ двое тифозныхъ. Если умрутъ, такъ, можетъ быть, сдѣлаютъ дезинфекцію... Немножко подождите.

Вспомнила свои поиски въ Одессѣ. Здѣсь тифъ, тамъ была свирѣпая испанка. Кто-то снабдилъ меня въ Кіевѣ письмомъ къ одному одесскому инженеру, который обѣщалъ предоставить мнѣ комнату въ своей квартирѣ.

Тотчасъ по пріѣздѣ пошла по указанному адресу. Звонила долго. Наконецъ, дверь чуть-чуть пріоткрылась и кто-то шопотомъ спросилъ, что мнѣ нужно. Я протянула письмо и сказала, въ чемъ дѣло. Тогда дверь пріоткрылась пошире, и я увидѣла несчастное изнуренное лицо пожилого человѣка. Это былъ тотъ самый инженеръ.

— Я не могу васъ впустить въ свою квартиру — все такъ же шопотомъ сказалъ онъ. — Мѣсто у меня есть, но поймите: пять дней тому назадъ я похоронилъ жену и двоихъ сыновей. Сейчасъ умираетъ мой третій сынъ. Послѣдній. Я совсѣмъ одинъ въ квартирѣ. Я даже руку не смѣю вамъ протянуть — можетъ быть, я уже зараженъ тоже. Нѣтъ, въ этотъ домъ входить нельзя.

Да. Тамъ была испанка, здѣсь сыпной тифъ.

Серафима Семеновна съ большимъ аппетитомъ разсказывала ужасы.

— Одна барышня пошла въ церковь, на похороны своего знакомаго. А тамъ ее спрашиваютъ: «отчего, молъ, у васъ такой глубокій трауръ?» Она говоритъ — «вовсе не трауръ, а просто черное платье». А ей показываютъ: «почему же у васъ на юбкѣ сѣрая полоса нашита?» Взглянула — а это все паразиты. Ну, она натурально хлопъ въ обморокъ. Начали ее приводить въ чувство, смотрятъ, а она уже вся въ тифу.

Подъ эти бодрящіе разсказы пошла я разыскивать «Шилку», которую перевели къ другому молу, далекому и пустому. Тамъ торчала она, тихая, голая, высоко вылѣзая изъ воды, и спущенныя длинныя сходни стояли почти вертикально.

Посмотрѣла — рѣшила, что все равно не влѣзу. И сходни то были безъ зарубокъ — прямо двѣ узкія доски. Сдѣлала нѣсколько шаговъ — ноги скользятъ обратно, а подо мной отвѣсный срывъ высокаго мола, а внизу глубоко вода.

Совсѣмъ загрустила. Сѣла на чугунную тумбу и стала стараться думать о чемъ нибудь пріятномъ.

Все-таки, что ни говори, я очень недурно устроилась. Погода хорошая, видъ чудесный, никто меня не колотитъ и вонъ не гонитъ. Сижу на удобной тумбѣ, какъ барышня, а надоѣстъ сидѣть, могу встать и постоять, либо походить. Что захочу, то и сдѣлаю и никто не смѣетъ мнѣ запретить.

Вонъ сверху, съ парохода, кто-то перевѣсился, кто-то стриженый и смотритъ на меня.

— Отчего же вы не подымаетесь? — кричитъ стриженый.

— А какъ же я подымусь? — кричу я.

— А по доскѣ.

— А я боюсь.

— Да ну!

Стриженый отошелъ отъ края и черезъ минуту бойко бочкомъ побѣжалъ по доскѣ внизъ.

Это пароходный офицеръ изъ машиннаго отдѣленія.

— Боитесь? Держите меня за руку.

Вдвоемъ итти оказалось еще страшнѣе. Доски гнутся неровно. Ступишь лѣвой ногой — правая доска подымается чуть не до колѣна. Ступишь правой — лѣвая доска подпрыгнетъ.

— Завтра обѣщаютъ протянуть рядомъ веревку, чтобы было за что держаться — утѣшаетъ меня офицеръ.

— Такъ не ждать же мнѣ до завтра. Раздобудьте мнѣ палку, я съ палкой пойду.

Офицеръ послушно побѣжалъ вдоль мола къ берегу, притащилъ большую палку.

— Ладно — сказала я. — Теперь сядьте на эту тумбу и пойте что нибудь цирковое.

— Циркового не знаю. Можно танго «Аргентина»?

— Попробуемъ.

— «Въ далекой знойной Аргенти-и-нѣ!...» — запѣлъ офицеръ. — Что же теперь будетъ?

— Ради Бога не останавливайтесь! Пойте и какъ слѣдуетъ отбивайте тактъ!

Я ухватила палку двумя руками и держа ее поперекъ, шагнула на доски.

—«Гдѣ не-бе-са такъ знойно си-нии...» — выводилъ офицеръ.

Господи! Какой фальшивый голосъ! Только бы не разсмѣяться...

Итакъ: внизъ не смотрѣть. Смотрѣть впередъ на доски, итти по одной доскѣ, подпѣвать мотивъ.

— «Гдѣ же-енщины, какъ на картн-инѣ...»

Ура! Дошла до борта. Теперь только поднять ногу, перешагнуть и...

И вдругъ ноги поѣхали внизъ. Я выронила палку, закрыла глаза... Кто-то крѣпко схватилъ меня за плечи. Это сверху, съ парохода. Я нагнулась, уцѣпилась за бортъ и влѣзла.

*
* *

Маленькій капитанъ, узнавъ, что я еще не нашла комнаты, предложилъ бросить всякіе поиски и остаться гостьей на пароходѣ. Въ мое распоряженіе отдавалась маленькая каютка за очень дешевую плату, могла столоваться съ командой «изъ общаго котла» и ждать вмѣстѣ съ командой, какъ выяснится дальнѣйшая судьба «Шилки». Если удастся двинуть ее во Владивостокъ, то отвезутъ туда и меня.

Я была очень довольна и отъ души поблагодарила милаго капитана.

И началась унылая и странная жизнь на пароходѣ, прижатомъ къ берегу, къ пустому длинному бѣлому молу.

Никто не зналъ, когда и куда тронемся.

Капитанъ сидѣлъ въ своей каютѣ съ женой и ребенкомъ.

Помощникъ капитана шилъ башмаки своей женѣ и свояченицѣ, очаровательной молоденькой кудрявой Надѣ, которая бѣгала по трапамъ въ кисейномъ платьицѣ и балетныхъ туфляхъ, смущая покой корабельной молодежи.

Мичманъ Ш. бренчалъ на гитарѣ.

Инженеръ О. вѣчно что-то налаживалъ въ машинномъ отдѣленіи...

Вывезшій меня изъ Одессы В. тоже временно остался на «Шилкѣ». Онъ цѣлые дни бродилъ по городу, искалъ кого-нибудь изъ друзей и возвращался съ копченой колбасой, ѣлъ, вздыхалъ и говорилъ, что боится голодной смерти.

Китаецъ - поваръ готовилъ намъ обѣдъ. Китаецъ - прачка стиралъ бѣлье. Слуга Акынъ убиралъ мою каюту.

Тихо закатывалось солнце, отмѣчая красными зорями тусклые дни, шлепали волны о бортъ, шуршали канаты, гремѣли цѣпи. Бѣлѣли далекія горы, закрывшія отъ насъ міръ.

Тоска.

Начался норд-остъ.

Я еще въ Одессѣ слышала о немъ легенды.

Пріѣхалъ туда какъ-то изъ Новороссійска одинъ изъ сотрудниковъ «Русскаго Слова», весь забинтованный, завязанный и облѣпленный пластыремъ. Оказывается, что попалъ онъ въ норд-остъ, шелъ по улицѣ, вѣтромъ его повалило и катало по мостовой, пока ему не удалось ухватиться за фонарный столбъ.

Разсказывали еще, какъ всѣ пароходы сорвало съ якорей и унесло въ море и удержался въ бухтѣ только какой то хитрый американецъ, который развелъ пары и полнымъ ходомъ пошелъ противъ вѣтра прямо на берегъ. Такимъ образомъ, ему удалось удержаться на мѣстѣ.

Я особой вѣры всѣмъ этимъ разсказамъ не придавала, но все-таки съ большимъ интересомъ ждала норд-оста.

Говорили, что считать онъ умѣетъ только тройками. Поэтому дуетъ или три дня, или шесть, или девять и т. д.

И вотъ желаніе мое исполнилось .

Завизжала, заскрипѣла, застопала наша «Шпилька», всѣми болтами, цѣпями, канатами. Застучала желѣзомъ, заствистѣла снастью.

Я пошла въ городъ, въ тайной надеждѣ, что

меня тоже повалитъ и покатитъ по улицѣ, какъ сотрудника «Русскаго Слова».

Благополучно добралась до базара. Стала покупать какую то ерунду и вдругъ сѣрой тучей взвилась пыль, полетѣли щепки, хлопнула парусина надъ ларьками, что то съ грохотомъ повалилось и что то пѣнистое розовое закрыло отъ меня міръ.

Я отчаянно замахала руками. Міръ открылся, а розовое, оказавшееся моей собственной юбкой, вздувшейся выше моей собственной головы, обвилось вокругъ ногъ.

Очень смущенная я оглядываюсь кругомъ. Но всѣ терли глаза, жмурились, закрывали лица локтями и, повидимому, никто не обратилъ вниманія на мое первое знакомство съ нордъ-остомъ. Только вдали какая то баба, торговавшая бубликами, помирала со смѣху, глядя на меня...

Нордъ-остъ дулъ двѣнадцать дней. Былъ въ снастяхъ всѣми воплями міра. Тоскливыми, злобными, скорбными, свирѣпыми. Сдулъ народъ съ улицъ, торговцевъ съ базара, моряковъ съ палубы. Ни одной лодки на рейдѣ, ни одной телѣги на берегу.

Гуляютъ столбы желтой пыли, крутятъ соръ и щепки, катаютъ щебень по дорогѣ.

Къ нашей «Шилкѣ» прибило раздувшійся трупъ коровы.

Говорятъ — вѣтеръ часто валитъ скотъ въ море.

Юнги отталкивали корову баграми, но ее снова прибивало къ намъ, и страшный раздувшійся пузырь долго колыхался, то отплывая, то снова вздымаясь у самаго борта.

Уныло бродили обитатели «Шилки».

Выйдешь на палубу — слѣва въ пыли и щепкахъ затихшій городъ, замученный тревогой, стра-

хомъ и сыпнымъ тифомъ. Справа — убѣгающее море, волны ,спѣшно и безтолково подталкивающія другъ друга, налѣзающія другъ на друга, и падающія, раздавленныя новыми волнами, плюющими на нихъ яростной пѣной.

Суетливо шныряющія чайки, тоскливо и горько бросали другъ другу какія то послѣднія слова, обрывистыя, безнадежныя.

Сѣрое небо.

Тоска.

Ночью грохотъ и стукъ на палубѣ не давали спать. Выйдешь наверхъ изъ душной каюты — вѣтеръ закрутитъ, подхватитъ, захлопнетъ за тобой дверь и потянетъ на черную сторону, туда, гдѣ со свистомъ и воемъ гонитъ вѣтеръ испуганную толпу волнъ, прочь, прочь, прочь...

Прочь отъ тоскливыхъ береговъ. Но куда?

Скоро и насъ, можетъ быть, такъ вотъ поглотитъ озвѣрѣлая стихія, но куда? На какіе просторы?...

Идешь опять въ каюту.

Слушаешь, лежа на твердой, деревянной койкѣ, какъ гдѣ то уныло тренькаетъ мичманъ на своей разстроенной гитарѣ, да кашляетъ надрывно старый китаецъ — корабельный кокъ, который когда то «такъ разсердился, что оборвалъ себѣ сердце».

*
**

Брожу по городу въ надеждѣ что-нибудь узнать. Нашла какую-то бывшую редакцію бывшей новороссійской газеты. Но тамъ никто ничего не зналъ. Вѣрнѣе — всѣ знали очень много, каждый совершенно противоположное тому, что зналъ другой.

Въ одномъ сходились всѣ: Одесса въ рукахъ большевиковъ.

Встрѣтила на улицѣ знаменитаго «матроса» Баткина. Здѣсь, въ Новороссійскѣ, онъ оказался щеголеватымъ студентомъ, гулялъ, окруженный толпой гордящихся имъ барышень, разсказывалъ, будто его разстрѣливали и спасся онъ только силою своего краснорѣчія. Впрочемъ, все это разсказывалъ онъ какъ то не особенно увѣренно и ярко, и не очень настаивалъ на томъ, чтобы ему вѣрили. Въ разсказѣ о разстрѣлѣ было хорошо только то, что онъ умиралъ съ именемъ любимой женщины на устахъ. При этой детали хоръ барышень опускалъ глаза.

Я смотрѣла на этого приглаженнаго, принаряженнаго студента и вспоминала того пламеннаго матроса, который выходилъ на сцену Маріинскаго театра и на фонѣ развернутаго Андреевскаго флага бурно призывалъ къ борьбѣ до конца. А въ большой царской ложѣ слушали и апплодировали ему сотрудники «Вечерней Биржевки»...

Вихревой нордъ-остъ сдулъ этого возникшаго изъ огня Феникса. Пыль и щепки... Впослѣдствіи онъ, говорятъ, предложилъ свои услуги большевикамъ. Не знаю...

Пыль и щепки...

Но тѣ вечера на фонѣ Андреевскаго флага не забуду.

***

Брожу по городу.

Стали встрѣчаться новыя группы бѣженцевъ. Попадались и знакомые.

Поразило и запомнилось новое выраженіе лицъ, встрѣчавшихся все чаще и чаще: странно

бѣгающіе глаза. Смущенно, растерянно и мгновеніями — нагло. Какъ будто нѣсколько секундъ жизни не хватило имъ, чтобы въ этой наглости спокойно утвердиться.

Потомъ я поняла: это были тѣ, неувѣренные (какъ бѣдный А. Кугель) въ томъ, гдѣ правда и гдѣ сила.

Ждали у моря погоды. Заводили связи здѣсь, не теряли связей тамъ.

Неожиданно встрѣтила того самаго сановника, который говорилъ въ Кіевѣ, что до тѣхъ поръ не успокоится, пока не зарѣжетъ семерыхъ большевиковъ на могилѣ своего разстрѣляннаго брата.

— Чтобы кровь, кровь просочилась, дошла до его замученнаго тѣла!

У него видъ былъ также не особенно боевой. Голову втянулъ въ плечи и оглядывался по волчьи, поворачиваясь всѣмъ тѣломъ, сторожко кося хитрымъ глазомъ.

Разговаривалъ со мной какъ то натянуто, о семи большевикахъ не упоминалъ и вообще пафоса не обнаруживалъ. Вся повадка была такая, будто пробирается онъ по жердочкѣ, черезъ топкое мѣсто.

— А гдѣ же ваша семья? — спросила я.

— Семья пока въ Кіевѣ. Ну, да скоро увидимся.

— Скоро? А какъ же вы туда проберетесь?

Онъ почему то оглянулся, по новому, по волчьи.

— Скоро, навѣрное, будутъ всякія возможности. Ну, да пока нечего объ этомъ толковать.

Возможности для него явились скоро. Онъ и сейчасъ съ успѣхомъ и почетомъ работаетъ въ Москвѣ...

Всѣ воспоминанія этихъ моихъ первыхъ новороссійскихъ дней такъ и остались задернутыми сѣрой пылью, закрученными душнымъ вихремъ вмѣстѣ съ мусоромъ, со щепками, съ обрывками, съ опилками, сдувавшими людей направо, налѣво, за горы и въ море, въ стихійной жестокости, бездушной и безсмысленной. Опъ, этотъ вихрь, опредѣлялъ нашу судьбу...

Да вихрь опредѣлялъ нашу судьбу. Отбрасывалъ вправо и влѣво.

Четырнадцатилѣтній мальчикъ, сынъ разстрѣлянnаго моряка, пробрался на сѣверъ, разыскивая родныхъ. Никого не нашелъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ былъ уже въ рядахъ коммунистовъ. А семья, которую онъ разыскивалъ, оказалась заграницей. И говоритъ о мальчикѣ съ горечью и стыдомъ...

Актеръ, пѣвшій большевицкія частушки и куплеты, случайно застрялъ въ городѣ послѣ ухода большевиковъ, передѣлалъ свои частушки на антибольшевицкія и навсегда остался бѣлымъ...

Очень мучились крупные артисты, оставшіеся на югѣ вдали отъ родныхъ и театровъ. Совершенно растерянные кружились они въ бѣломъ вихрѣ. Потомъ, сорвавшись, неслись безудержной птичьей тягой черезъ рѣки и пожары въ родной скворешникъ.

*
**

Появились дѣловитые господинчики, сновавшіе имъ однимъ вѣдомыми путями изъ Москвы на югъ и обратно. Что то провозили, что то привозили.. Иногда любезно предлагали доставить что нибудь изъ оставленныхъ въ Петербургѣ или Москвѣ вещей, отвезти деньги родственникамъ.

Странные были эти господинчики. Вѣдь не для того же они ѣздили, чтобы оказывать намъ услуги. Зачѣмъ они сновали туда и обратно, кому въ сущности служили, кого продавали. Никто этимъ серьезно не интересовался. Говорили просто:

— Вотъ такой то ѣдетъ въ Москву. Онъ какъ то умѣетъ пробираться.

А почему онъ умѣетъ и зачѣмъ ему это умѣнье такъ нужно, объ этомъ никто не задумывался.

Иногда кто нибудь вскользь обронитъ:

— Навѣрное, шпіонъ.

Но такъ добродушно и просто, словно, сказалъ:

— Навѣрное, адвокатъ.

Или:

— Навѣрное, портной.

Профессія, молъ, какъ всякая другая.

А они шныряли, покупали и продавали.

***

Населеніе Новороссійска мѣнялось. Исчезли таборы, что такъ живописно оживляли набережную.

Схлынулъ первый потокъ бѣженцевъ.

Бѣлая армія продвигалась впередъ и въ освобожденные города вливался потокъ своевременно сбѣжавшихъ изъ нихъ обывателей.

Всѣ лихорадочно слѣдили за успѣхами Деникина.

Въ этой лихорадкѣ были порой и трагикомедіи.

Одинъ харьковецъ, котораго я часто встрѣчала на улицѣ подъ ручку съ молоденькой актрисой разводилъ руками и растерянно говорилъ:

— Чего же они такъ скоро продвигаются! Ну хоть отдохнули бы немножко. Развѣ вы не находи-

те, что надо дать солдатикамъ отдышаться. Конечно, они герои, но передышка и герою не вредна.

И безнадежно прибавлялъ:

— Вѣдь эдакъ, пожалуй, скоро и по домамъ пора.

У него въ Харьковѣ была жена.

Но самое комичное въ этой трагедіи было то (и я это знала, навѣрное), что жена его была въ такомъ же мрачномъ восторгѣ отъ быстрыхъ шаговъ деникинской арміи.

— Воображаю, — говорю я харьковцу, — какъ ваша бѣдненькая жена будетъ рада!

И думаю:

— Бѣдненькая! Небось послѣ каждой новой вѣсти о бѣлыхъ успѣхахъ бродитъ по дому, рветъ письма, вытряхиваетъ изъ пепельницъ подозрительные окурки и пишетъ дрожащей рукой записочку:

«Бѣлые приближаются. На всякій случай завтра не приходите»...

— Да, воображаю, какъ ваша бѣдная жена волнуется...

Не знаю, что именно онъ думаетъ, но говоритъ:

— Н-да. Воображаю! Вы вѣдь ее знаете — божью коровку. Мнѣ иногда даже хочется, чтобы она меня любила поменьше. Такая самоотреченная любовь, это вѣдь всегда страданіе. Я, конечно, и вѣренъ, и преданъ вы сами знаете...

— Да, да, конечно..

— Въ наше время это даже рѣдкость такое супружество. Вѣрны другъ другу прямо какъ какіе нибудь Бобчинскій и Добчинскій.

Не знаю, какъ они потомъ встрѣтились. Благополучно ли замелъ слѣды Бобчинскій, и удачно ли вывернулся Добчинскій.

Неожиданно пріѣхали ко мнѣ на «Шпилку»

цѣловые гости - двѣ актрисы, посланныя отъ екатеринодарскаго антрепренера Б-е. Мнѣ предлагалось устроить въ Екатеринодарѣ два вечера моихъ пьесъ. Актеры разыграютъ пьесы, — труппа хорошая, — я что нибудь прочту. Условія недурныя. Я согласилась.

Актрисы передали мнѣ письмо отъ Оленушки. Она писала изъ Екатеринодара, что ея мужъ умеръ отъ сыпного тифа и что она собирается меня навѣстить.

Бѣдная Оленушка! Какъ странно будетъ видѣть ее въ траурѣ, вдовой!

Но вотъ пришла ея телеграмма:

«Пріѣду завтра».

На «Шилкѣ» какъ разъ грузили уголь. Большая, уже почти пустая угольная баржа стояла рядомъ.

Сижу на палубѣ, смотрю на исходни, жду.

Вдругъ наши юнги чему то засмѣялись, закричали «браво! браво!» Оглянулась. Идетъ какая то барышня прямо по узенькому борту вдоль зіяющей черной бездной пустой баржи. Идетъ, балансируя дорожнымъ нессесерчикомъ, да еще подпрыгивая:

— Оленушка!

Я себѣ представляла ее въ длинной черной вуали, съ посовымъ платкомъ въ рукѣ. А эта — розовая мордочка, съ какой то клѣтчатой кэпкой на затылкѣ.

— Оленушка! Я думала, что вы въ траурѣ...

— Нѣтъ, — отвѣчала она, чмокая меня въ щеку. Мы съ Вовой дали другъ другу клятву, что если одинъ умретъ, такъ другой не долженъ горевать, а наоборотъ, ходить въ кинематографъ и всячески стараться отвлечься отъ печали. Мы такъ поклялись.

Разсказала мнѣ сложную исторію своего брака.

Когда она пріѣхала въ Ростовъ, Вова ее ждалъ, приготовилъ ей комнату рядомъ со своей, но никому въ гостиницѣ они не сказали, что знаютъ другъ друга. Потихоньку повѣнчались, опять таки, дѣлая передъ всѣми видъ, что совершенно незнакомы.

— Зачѣмъ же вамъ это было нужно?

— Я боялась, что Дима въ Кіева узнаетъ, что я вышла замужъ и застрѣлится. Или просто будетъ очень страдать, — смущенно отвѣчала Оленушка. — Я не могу, когда люди страдаютъ...

Горничная въ гостиницѣ очень удивлялась, видя на оленушкиномъ столикѣ портретъ Вовы.

— Ну до чего, барышня, этотъ вашъ братецъ похожъ на того офицера, что у насъ живетъ!

— Неужели похожъ ?— удивлялась Оленушка. Надо будетъ какъ нибудь посмотрѣть.

Жили мирно, бѣдно и весело.

Вова по дѣламъ службы часто уѣзжалъ. Несмотря на свои девятнадцать лѣтъ, онъ былъ уже въ чинѣ капитана и ему давали отвѣтственныя порученія. На дорогу Оленушка благословляла его маленькой шитой жемчугомъ иконкой Божіей Матери и давала, «чтобъ онъ не чувствовалъ себя одинокимъ» плюшевую собачку.

Разъ вернулся Вова изъ командировки, очень усталый и печальный.

— Ко мнѣ на вокзалѣ, — разсказывалъ онъ, — подошла большая лохматая собака и все просила глазами, чтобы я ее погладилъ. Такая она была жалкая и грязная. И я все почему то думалъ: «вотъ, пожалѣю, поглажу ее и заболѣю тифомъ». А она все смотрѣла на меня и все просила приласкать. Теперь, навѣрное, умру.

Тихій сталъ. И начало казаться ему, что каж-

дый разъ, какъ онъ входитъ въ комнату, какой то странный, прозрачный, словно желатиновый человѣкъ стоитъ у стѣны. Нагнется и исчезнетъ.

Потомъ вызвали Вову снова въ Екатеринодаръ, Онъ уѣхалъ и пропалъ. Давно прошелъ намѣченный срокъ возвращенія. А объ Екатеринодарѣ ходили страшные слухи: падалъ народъ на улицѣ, молніеносно пораженный сыпнымъ тифомъ. Умирали, не приходя въ сознаніе.

Взяла Оленушка двухдневный отпускъ въ своемъ «Ренессансѣ» (кажется, такъ звали театрикъ, гдѣ она играла) и поѣхала разыскивать мужа. Обошла всѣ большія гостиницы и госпитали — не нашла, и слѣдовъ никакихъ.

Вернулась домой.

И тутъ кто то довелъ до ея свѣдѣнія, что мужъ ея, дѣйствительно, боленъ и лежитъ въ госпиталѣ въ Екатеринодарѣ.

Выпросила Оленушка снова отпускъ и нашла госпиталь. Тамъ сказали, что мужа ея подобрали на улицѣ въ безсознательномъ состояніи, что онъ долго мучился, тифъ у него былъ въ самой жестокой формѣ, и умеръ онъ, не придя ни разу въ сознаніе, и уже похороненъ. Въ бреду повторялъ только два слова: «Оленушка, Ренессансъ». Кто то изъ сосѣдей по койкѣ выразилъ предположеніе, что, пожалуй, это онъ говоритъ о ростовскомъ театрѣ и проситъ, чтобы дали туда знать.

— Бѣдный мальчикъ — сказалъ Оленушкѣ врачъ, — всѣми силами души звалъ васъ все время и никто не понималъ его...

Вдовѣ передали «имущество покойнаго» — плюшевую собачку и маленькую, шитую жемчугомъ, иконку Божіей Матери.

И въ тотъ же день должна была Оленушка вер-

путься въ Ростовъ и въ тотъ же вечеръ должна была играть какую то белиберду въ театрикѣ «стиля Летучей Мыши».

Такова была коротенькая исторія Олепушкинаго брака.

Какъ поется въ польской дѣтской пѣсенкѣ:

«Влѣзъ котикъ
На плотикъ
И поморгалъ,
Хороша пѣсенка,
И не долга»...

28.

Приближался срокъ, назначенный для моихъ вечеровъ въ Екатеринодарѣ.

Ничѣмъ не могу объяснить то невыносимое отвращеніе, которое я питаю ко всякимъ своимъ публичнымъ выступленіямъ. Сама не понимаю, въ чемъ тутъ дѣло. Можетъ быть, только психоаналитикъ Фрейдъ сумѣлъ бы выяснить причину.

Я не могу пожаловаться на дурное отношеніе публики. Меня всегда принимали не по заслугамъ привѣтливо, когда мнѣ приходилось читать на благотворительныхъ вечерахъ. Встрѣчали радостно, провожали съ почетомъ, аплодировали и благодарили. Чего еще нужно? Казалось бы — будь доволенъ и счастливъ.

Такъ нѣтъ!

Просыпаешься ночью какъ отъ толчка.

— Господи! Что такое ужасное готовится?.. Какая то невыносимая гадость... Ахъ, да! — нужно читать въ пользу дантистовъ!

И чего, чего только не придумывала, чтобы какъ - нибудь отъ этого ужаса избавиться!

Звонокъ по телефону (обыкновенно начиналось такъ):

— Когда разрѣшите заѣхать къ вамъ по очень важному дѣлу? Я васъ не задержу...

Ага! Начинается.

— Можетъ быть, вы будете любезны, — говорю я въ трубку и сама удивляюсь какой у меня сталъ блеклый голосъ, — можетъ быть, вы можете сказать мнѣ сейчасъ, въ чемъ приблизительно дѣло...

Но, увы, обыкновенно рѣдко на это соглашается. Дамы патронессы почему то твердо вѣрятъ въ неодолимую силу своего личнаго обаянія.

— По телефону трудно! — нѣвуче говоритъ она. — Разрѣшите всего пять минутъ, я васъ не оторву надолго.

Тогда я рѣшаюсь сразу сорвать съ нея маску.

— Можетъ быть, это что-нибудь насчетъ концерта?

Тутъ ужъ ей податься некуда, и я беру ее голыми руками.

— Когда вашъ концертъ намѣчается?

И, конечно, какой бы срокъ она ни назначила, онъ всегда окажется для меня «къ сожалѣнію, немыслимымъ».

Но бываетъ такъ, что срокъ назначается очень отдаленный — черезъ мѣсяцъ, черезъ полтора. И мнѣ по легкомыслію начинаетъ казаться, что къ тому времени вся наша планетная система такъ круто измѣнится, что и волноваться сейчасъ не о чемъ. Да, наконецъ, и патронесса къ тому времени забудетъ, что я согласилась, или вечеръ отложатъ. Все можетъ случиться.

—Съ удовольствіемъ — отвѣчаю я. Такая чудесная цѣль. Можете на меня разсчитывать.

И вотъ въ одно прекрасное утро, разверну газету и увижу свое имя, отчетливо напечатанное среди именъ писателей и артистовъ, которые черезъ два дня выступятъ въ залѣ Дворянскаго или Благороднаго собранія въ пользу, скажемъ, учениковъ, выгнанныхъ изъ гимназіи Гуревича.

Ну что тутъ сдѣлаешь? Заболѣть? Привить себѣ чуму? Вскрыть вены?

А разъ былъ со мной совсѣмъ ужъ жуткій случай. Вспоминаю о немъ, какъ о страшномъ снѣ. Бываютъ такіе сны. Отъ многихъ доводилось слышать.

— Снилось мнѣ будто долженъ я пѣть въ Маріинскомъ театрѣ, — разсказывалъ мнѣ старичекъ профессоръ химіи. Выхожу на сцену и вдругъ соображаю, что пѣть то я абсолютно не умѣю и вдобавокъ вылѣзъ въ ночной рубашкѣ. А публика смотритъ, оркестръ играетъ увертюру, а въ царской ложѣ государь сидитъ. Вѣдь приснится же эдакое...

Такъ вотъ случай, о которомъ я хочу разсказать, былъ такой же категоріи. Кошмарный и смѣшной. Пока спишь, пока въ немъ живешь — кошмаръ. Когда выйдешь изъ него — смѣшной.

Пріѣхалъ какъ то какой то молодой человѣкъ просить, чтобы я участвовала въ диспутѣ о кинематографѣ.

— О великомъ нѣмомъ.

Тогда эта тема была въ большой модѣ.

Участвовать обѣщали Леонидъ Андреевъ, Арабажинъ, критикъ Волынскій, Мейерхольдъ и еще не помню кто, но что-то много и звонко.

Я, конечно, сразу пришла въ ужасъ.

Еще прочесть кое-какъ съ эстрады по книжкѣ свой собственный разсказъ — это куда ни шло, въ концѣ концовъ, не такъ уже трудно. Но говорить я совсѣмъ не умѣю. Никогда не говорила и начинать не хочу.

Молодой человѣкъ сталъ меня уговаривать. Можно, молъ, если я совсѣмъ ужъ не умѣю говорить, написать на листочкѣ и прочесть.

— Да я ничего не знаю о кинематографѣ и ровно ничего о немъ не думаю.

— А вы подумайте!

—Никакъ не могу подумать — все равно не выйдетъ.

Въ то время какъ разъ ужасно много по этому вопросу писалось, но я все это пропустила и, дѣйствительно совершенно не знала на кого опереться, на что сослаться и противъ кого высказаться.

Но тутъ молодой человѣкъ сказалъ чудесное успокоительное слово:

— Диспутъ то вѣдь, будетъ черезъ полтора мѣсяца. За это время вы, конечно, отлично ознакомитесь съ вопросомъ, а потомъ по записочкѣ и прочтете.

Дѣйствительно — все выходило такъ уютно и просто и главное черезъ полтора мѣсяца.

Ну, конечно, я согласилась, и молодой человѣкъ ушелъ окрыленный.

Время шло. Никто меня не безпокоилъ, никто ничего не напомнилъ, и я ни о чемъ не вспоминала.

И вотъ насталъ какъ то скучный пустой вечеръ, когда видѣть никого не захотѣлось и ѣхать было некуда. И вотъ отъ скуки рѣшила я пойти въ Литейный театръ, отчасти даже по дѣлу. Въ театрѣ этомъ шли постоянно мои пьесы и изрѣдка нужно было провѣрять, какъ именно онѣ идутъ. Дѣло въ томъ, что актеры такъ вдохновлялись(народъ былъ все молодой, веселый, талантливый)и такъ, по актерской терминологіи, «накладывали», т. е. прибавляли столько отсебятины, что уже на десятомъ - двѣнадцатомъ представленіи нѣкоторыя мѣста пьесы столь далеко отходили отъ подлинника, что самъ авторъ съ трудомъ могъ догадаться,

что это именно его пьесу разыгрываютъ. А если оставить безъ присмотра, то на двадцатомъ, или на тридцатомъ даже съ любопытствомъ могъ бы спросить, что это за веселая дребедь такая — ничего не поймешь, а что-то между тѣмъ какъ будто знакомое...

Помню, какъ сейчасъ, какъ одинъ очень талантливый актеръ, играя въ моей пьесѣ «Алмазная пыль», и исполняя роль нѣжно влюбленнаго художника, вмѣсто словъ:

— «Я, какъ черный рабъ, буду ходить за тобой», — отчетливо и ясно говорилъ:

— "Я, какъ черный ракъ, буду ходить за тобой".

Я подумала, что либо я ослышалась, либо онъ оговорился.

Пошла за кулисы.

— Скажите, говорю, мнѣ это показалось?

— Нѣтъ, пѣтъ, это я такъ придумалъ.

— Да зачѣмъ же? — недоумѣвала я.

— А такъ смѣшнѣе выходитъ.

Ну что тутъ подѣлаешь!

Но «ракъ» это еще пустяки.

Разъ, послѣ долгаго пропуска, зайдя въ театръ, услышала я и увидѣла вмѣсто своей пьесы такую развеселую галиматью, что прямо испугалась. Бросилась за кулисы. Тамъ актеры встрѣтили меня радостно и гордо.

— Что! Видѣли какъ мы вашу пьесу раздѣлали? Довольны? Публика то въ какомъ восторгѣ!

— Это все, конечно, очаровательно, — отвѣтила я. Но, къ сожалѣнію, мнѣ придется васъ просить вернуться къ моему скромному тексту. Мнѣ неудобно подписывать свое имя подъ плодомъ чужого творчества.

Они очень удивились...

Итакъ, въ тотъ памятный вечеръ отправилась я въ Литейный театръ.

Было уже часовъ десять, и спектакль, очевидно, давно уже начался. У меня входъ былъ свободный и я прошла въ конецъ зала и разыскала пустое мѣсто.

Народу было много, но... что это за пьеса? И почему залъ освѣщенъ?

Смотрю — на сценѣ столъ, покрытый зеленымъ сукномъ. За столомъ сидятъ... По срединѣ Мейерхольдъ — его сразу узнала. Арабажинъ стоитъ и что-то говоритъ... Вотъ Волынскій.. Въ концѣ стола какой-то молодой человѣкъ... Мейерхольдъ, сощурившись, всмотрѣлся въ меня, видимо узналъ, подозвалъ знакомъ молодого человѣка(какая знакомая у него физіономія!) и сказалъ что-то указывая на меня... Молодой человѣкъ кивнулъ головой и направился къ выходу за кулисы

— Что все это можетъ значить? Вѣрно просто хочетъ изъ любезности предложить пересѣсть поближе... Но что они тутъ дѣлаютъ?

Между тѣмъ, молодой человѣкъ вошелъ въ боковую дверь и увѣренно пробирался ко мнѣ.

Подошелъ.

—Вы желаете сейчасъ говорить или послѣ перерыва? — спросилъ онъ.

— Я... я не желаю сейчасъ... Я не понимаю,,, — залепетала я, въ полномъ недоумѣніи,

— Значитъ послѣ перерыва, — дѣловито сказалъ молодой человѣкъ. — Во всякомъ случаѣ, мнѣ сказано просить васъ подняться на сцену и занять мѣсто за столомъ. Я провожу васъ.

— Нѣтъ... нѣтъ... я сама. Господи! Что-же это!

Онъ удивленно вскинулъ бровь и ушелъ

И тутъ разобрала я долетавшія со сцены, слова:

— Великій нѣмой...

— Роль кинематографа...

— Искусство или не искусство...

И что то забрезжило въ моей головѣ, что то стало принимать еще неясныя, но явно непріятныя формы...

Я тихо поднялась и пробралась къ выходу. А у выхода увидѣла огромный плакатъ:

«Диспутъ о кинематографѣ».

И среди участвующихъ отчетливо и ясно свое собственное имя...

Прибѣжавъ домой, я велѣла, перепуганной моимъ страхомъ горничной, закрыть на цѣпочку дверь и никому не отворять, сняла телефонную трубку, легла въ постель и засунула голову подъ подушку. Въ столовой былъ приготовленъ ужинъ, но я боялась туда пойти.

Мнѣ казалось, что тамъ «они» меня легче разыщутъ...

Какъ хорошо, что все на свѣтѣ кончается.

29.

Итакъ, — пришлось все-таки ѣхать въ Екатеринодаръ, гдѣ антрепренеръ мѣстнаго театра устраивалъ два вечера моихъ произведеній съ моимъ участіемъ.

Выѣхала изъ Новороссійска въ сумерки, унылая, усталая. Поѣздъ былъ переполненъ. Цѣлыя полчища солдатъ и офицеровъ забили всѣ вагоны. Очевидно, ѣхали на фронтъ, на сѣверъ. Но видъ у всѣхъ былъ такой замученный, прокопченный, истерзанный, что врядъ ли они долго отдыхали. Можетъ быть, ихъ просто перебрасывали съ одного фронта на другой. Не знаю.

Меня втиснули въ вагонъ третьяго класса, съ разбитымъ окномъ, безъ освѣщенія.

На скамейкахъ, на полу — всюду фигуры въ бурыхъ шинеляхъ.

Душно. Накурено.

Прежде, чѣмъ поѣздъ успѣлъ двинуться, многіе уснули.

Наискось отъ меня стоялъ, упершись спиной въ стѣну, высокій, тощій офицеръ.

— Андреевъ! окликнули его со скамейки. Садись, мы потѣснимся.

— Не могу, — отвѣчалъ офицеръ. — Мнѣ легче, когда я стою.

И такъ простоялъ онъ всю ночь, откинувъ на-

надъ голову, закативъ бѣлки полузакрытыхъ глазъ, на лбу у него, подъ сдвинутымъ козырькомъ фуражки черпѣло темно - алое круглое пятно. Точно командиръ Летучаго Голландца, прибитый гвоздемъ къ мачтѣ, стоялъ онъ такъ всю ночь, чуть покачиваясь отъ толчковъ на разставленныхъ длинныхъ, худыхъ ногахъ. Говорили мало, кромѣ одного офицера, сидѣвшаго у разбитаго окна. Тотъ, не переставая, все разсказывалъ что то, и я скоро понялъ, что говоритъ онъ просто самъ съ собой, что никто его не слушаетъ...

Но вотъ около меня одинъ спрашиваетъ другого:

— Вы слышали про полковника X?

Называетъ фамилію, уже слышанную мною въ Новороссійскѣ. Про полковника этого разсказывали, что большевики на его глазахъ замучили его жену и двоихъ дѣтей, и онъ съ тѣхъ поръ, какъ захватитъ гдѣ большевицкій отрядъ, сейчасъ же принимается за расправу и каждый разъ одинаково: непремѣнно садится на крыльцо, пьетъ чай и заставляетъ, чтобы передъ нимъ этихъ плѣнниковъ вѣшали, одного за другимъ, одного за другимъ.

А самъ все пьетъ чай.

Вотъ его имя и назвалъ кто то около меня.

— Слышалъ, — отвѣчалъ собесѣдникъ. — Онъ сумасшедшій.

— Нѣтъ, не сумасшедшій. То, что онъ дѣлаетъ, это для него нормально. Вы поймите, что послѣ всего, что онъ пережилъ, вести себя по обычному было бы очень, очень странно. Непормально было бы. Каждой душѣ есть свой предѣлъ. Дальше человѣческій разумъ выдерживать не можетъ. И не долженъ. И полковникъ X. поступаетъ вполнѣ для себя нормально. Понялп?

Собесѣдникъ ничего не отвѣтилъ. Но кто то подальше, сидящій по ту сторону прохода, громко сказалъ:

— Они выкололи глаза мальчику, ребенку десяти лѣтъ, вырѣзали ихъ начисто. Кто не видѣлъ такого лица съ вырѣзанными глазами, тотъ представить себѣ не можетъ, до чего это страшно. Онъ жилъ такъ два дня и все время кричалъ...

— Ну, довольно... Не надо,,,

— А развѣдчику, слыхали? — связали руки, а ротъ и носъ забили землей. Задохся.

— Нѣтъ, полковникъ X. не сумасшедшій. Онъ въ своей жизни, въ той, въ которой живетъ, вполнѣ нормальный человѣкъ.

Въ вагонѣ было темно .

Черезъ разбитое стекло тусклый свѣтъ — должно быть, лунный, но самой луны не было видно,—выдѣлялъ темные силуэты около окна. Тѣ, что были дальше и внизу на полу, колыхались густой мутной тѣпью, бормотали ,вскрикивали. Спали они, или бредили на яву?..

И тотъ голосъ, который отчетливо и слишкомъ громко, слишкомъ напряженно сказалъ:

— Я не могу больше. Съ четырнадцатаго года меня мучили, мучили и вотъ теперь я... умеръ. Я умеръ..,

Это былъ голосъ не живого, не сознающаго себя человѣка. Такъ звучатъ голоса тѣхъ, кого нѣтъ — въ граммофонѣ, или на спиритическомъ сеансѣ...

Старый, разбитый вагонъ дребезжалъ всѣми гайками, визжалъ ржавыми колесами, катилъ эти полутрупы на муку и смерть.

Стало свѣтать.

Еще страшнѣе въ разсвѣтной мглѣ забѣлѣли лица, закачались головы.

Да, они спали. Они говорили во снѣ. И тотъ,

кто просыпался, сразу смолкалъ, просто и дѣловито расправлялъ отекшія плечи, одергивалъ шинель. И не зналъ, о чемъ плакала его душа, когда онъ спалъ...

Но самый страшный былъ тотъ, который стоялъ впереди всѣхъ, стоялъ во весь ростъ, распахнувъ шинель и откинувъ свою худую мертвую голову съ прострѣленнымъ лбомъ.

Онъ стоялъ лицомъ къ намъ, словно командовалъ и велъ за собой. Человѣкъ съ прострѣленнымъ лбомъ, капитанъ Летучаго Голландца, корабля смерти....

*
**

Поѣздъ пришелъ въ Екатеринодаръ рано. Гогодъ еще спалъ.

Яркій, солнечный день, пыльныя улицы, трескучая извозчичья пролетка сразу перенесли меня въ просторное привычное настроеніе. Минувшая ночь отзвучала, какъ стонъ.

— Ничего, — настраивала я себя на веселый ладъ. — Скоро дадутъ разрѣшеніе «Шилкѣ» итти на востокъ. Тамъ встрѣтитъ меня М., преданный и вѣрный другъ. Тамъ отдохну немножко душой, а потомъ видно будетъ.

Стала думать о предстоящихъ спектакляхъ, о репетиціяхъ, которыя надо будетъ начать сегодня же.

У Б-е, пригласившаго меня антрепренера, ставни были еще закрыты. Очевидно, всѣ спали.

На мой звонокъ открыла мнѣ Оленушка, служившая въ труппѣ Б-е...

30.

Екатеринодаръ былъ тогда нашимъ центромъ, нашей столицей. И видъ у него былъ столичный.

На улицахъ генеральскіе мундиры, отрывки важныхъ разговоровъ.

— Я приказалъ...

— Однако, министръ...

— Немедленно поставлю на видъ.

— Дома, отведенные подъ разныя казенныя учрежденія, чиновники, пишущія машинки...

Неожиданно получила письмо изъ Новороссійска съ просьбой отъ оставленной мною «Шпилки». Просьба заключалась въ томъ, чтобы я пошла къ морскому начальству и лично походатайствовать о томъ, чтобы «Шпилкѣ» разрѣшили итти во Владивостокъ.

Я терпѣть не могу всякихъ казенныхъ учрежденій и формальныхъ отношеній. Даже полученіе невиннаго заказного письма на почтѣ дѣйствуетъ на меня угнетающе. Подъ «дѣловымъ» взглядомъ чиновника, протягивающаго мнѣ книгу для подписи, я мгновенно забываю какое сегодня число, какой годъ и какъ моя фамилія. Число еще спросить можно, годъ, пошаривъ глазами, иногда удается замѣтить на стѣнномъ календарѣ, но если задумаешься надъ собственной фамиліей, чиновникъ отказывается выдать письмо.

Но, дѣлать нечего, хотѣлось услужить милой «Шилкѣ», да и самой поплыть на востокъ очень было интересно. Пока что гнала насъ судьба по картѣ внизъ. Пусть теперь гонитъ вбокъ.

Попросила указать мнѣ учрежденіе, гдѣ сидятъ морскія власти, и пошла.

Направили меня къ высокому господину съ ярко-рыжей бородой. Кто онъ былъ теперь не помню. Помню только, что онъ былъ яркорыжій и очень любезный и представлялъ сильную морскую власть..

Какое сегодня число онъ у меня не спросилъ, имя мое самъ зналъ, такъ что я пролепетала ему шилкинскую просьбу довольно бодро.

Онъ подумалъ и вдругъ неожиданно спросилъ:

— Скажите, почему вамъ такъ хочется утонуть? Капитанъ Рябининъ уже просилъ насъ объ этомъ разрѣшенія. Мы отказали. «Шилка» маленькое суденышко, капитанъ Рябининъ никогда во Владивостокъ не ходилъ. Онъ васъ потопитъ.

Я заступилась за «Шилку». Что же изъ того, что она мала? Она, тѣмъ не менѣе, пришла въ Черное море именно изъ Владивостока.

— Мы это и считаемъ удачной случайностью, которая, навѣрное больше не повторится. И сейчасъ она, навѣрное, попала бы въ тайфунъ.

Мнѣ неловко было объяснять ему, что для меня лично тайфунъ и есть самое интересное. Я только сказала, что, по моему мнѣнію, «Шилка» сможетъ выдержать любой штормъ.

Морская власть засмѣялась и выразила сомнѣніе.

— Щепки не останется. Онъ очень храбрый вашъ капитанъ Рябининъ, но мы такого безумія разрѣшить не можемъ.

Послала печальную телеграмму и хлопоты прекратила.

*
* *

Три - четыре дня, необходимыхъ для репетицій и спектаклей, прожила я у антрепренера Б-е...

Онъ былъ очень милый человѣкъ, русскій французъ, сохранившій отъ забытой родины только обычай самому разрѣзывать за обѣдомъ жареную курицу.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ онъ женился на молоденькой актрисочкѣ своей труппы. Отъ хорошей жизни актрисочка растолстѣла, сцену бросила, ходила пухлая, розовая, сонная, — въ пышныхъ кисейныхъ оборочкахъ, называла Б-е «папа» и говорила какъ кукла.

— Па-па! Дѣтка хочетъ арбуза! Па-па!

Домъ всегда былъ полонъ народу: актеры, актрисы, рецензенты. Всѣ оставались къ обѣду и къ завтраку. Было шумно,людно и безтолково. О политикѣ здѣсь говорилось мало. Свободно встрѣчались и бесѣдовали люди, которые должны были вернуться въ Москву и которые могли вернуться, съ тѣми, которые никогда вернуться уже не смогутъ. Впрочемъ, вѣдь никто ничего и не зналъ. Предоставляя людямъ активной борьбы знать и рѣшать, здѣсь, въ этой группѣ артистической богемы, жили только своими профессіональными интересами и, мнѣ кажется, словно боялись задуматься и оглядѣться...

Народу все прибавлялось. Всѣми правдами и неправдами проползали съ сѣвера все новыя группы актеровъ.

Пріѣхалъ старый театральный журналистъ. Прислалъ телеграмму, что нездоровъ и просилъ приготовить комнату. Сняли номеръ въ гостиницѣ и двѣ сердобольныя актрисы поѣхали его встрѣчать.

Встрѣтили.

Все готово, мы даже заказали для васъ ванну!

— Ванну? — испуганно спросилъ журналистъ. - Развѣ вы считаете, что мое положеніе настолько опасно?

Дамы смутились.

— Нѣтъ, что вы! Это просто, чтобы вы могли вымыться послѣ такой ужасной дороги.

Журналистъ снисходительно улыбнулся.

- - Ну, если дѣло идетъ только объ этомъ, дорогія мои, то долженъ вамъ сказать, что особой потребности не чувствую...

Помню въ этой пестрой толпѣ кинематографическаго героя Рунича, опереточнаго премьера Кошевскаго — комическаго актера и трагическаго человѣка, которому всегда казалось, что онъ смертельно боленъ. Даже когда съ удовольствіемъ накладывалъ себѣ на тарелку третью порцію онъ сокрушенно приговаривалъ:

— Да, да, подозрительный аппетитъ. Вѣрный симптомъ начинающагося менингита...

У него была интересная жена, о которой какая то актриса сказала:

— Она изъ очень интересной семьи. Говорятъ, Достоевскій писалъ съ ея тетки своихъ «Братьевъ Карамазовыхъ»...

Насталъ день моего спектакля. Ставятъ три моихъ миніатюры, и кромѣ того артисты будутъ разсказывать мои разсказы, пѣть мои пѣсенки и декламировать стихи.

Антрепренеръ требуетъ, чтобы я непремѣнно сама что-нибудь прочла. Я защищаюсь долго и упорно, но приходится сдаться.

Актрисы наши волнуются, забѣгаютъ ко мнѣ и всѣ поочереди просятъ разрѣшенія загримировать меня передъ моимъ выходомъ.

— Что вы будете читать? спрашивают меня.

— Еще не выбрала.

— Ахъ = ахъ! Какъ же такъ можно!

Вечеромъ съ пискомъ, визгомъ и воплями все населеніе нашего дома убѣжало въ театръ. Я рѣшила придти попозже.

Спокойно одѣлась и вышла.

Тихая была ночь, темная, густозвѣздная. И странно отъ нея затихла душа...

Бываютъ такія настроенія. Сразу обрываются въ душѣ всѣ нити, связывающія ея земное съ земнымъ. Безконечно далеко чуть помнятся самые близкіе люди, тускнѣютъ и отходятъ самыя значительныя событія прошлаго, меркнетъ все то огромное и важное, что мы называемъ жизнью, и чуствуетъ себя человѣкъ тѣмъ первозданнымъ «*ничто*», изъ котораго создана вселенная...

Такъ было въ тотъ вечеръ: черная, пустая круглая земля и звѣздное безкрайное небо. И я.

Сколько времени такъ было — не знаю. Голоса разбудили меня. Шли люди и громко говорили о театрѣ. И я вспомнила все. Вспомнила, что сегодня мой вечеръ, что я должна спѣшить, увидѣла, что я зашла куда то далеко, потому что около меня блеснула полоской вала и черные мостки на ней.

— Ради Бога! Какъ пройти къ театру? — крикнула я.

Мнѣ объяснили.

Я пошла торопливо, стараясь стучать каблуками, чтобы слышать, что я вернулась въ мою простую обычную жизнь...

⁂

Въ театрѣ за кулисами, куда я пошла, оживленіе, толкотня.

— Ценикинъ въ залѣ! Театръ биткомъ набитъ.

Вижу сбоку первые ряды. Блеститъ шитье мундировъ, золото и серебро галуновъ, пышный залъ.

Пышный залъ хохочетъ, аплодируетъ, смѣхъ захватываетъ тѣхъ, кто толпится за кулисами.

— Автора! — кричатъ голоса изъ публики.

— Гдѣ же авторъ? Гдѣ же авторъ? — суетятся за кулисами.

— Гдѣ авторъ? — машинально повторяю и я. — Гдѣ же авторъ? Ахъ да, Господи! Да вѣдь это же моя пьеса!.. Вѣдь я и есть авторъ!

Если бы зналъ мой милый антрепренеръ Б е, какое чудище онъ пригласилъ! Вѣдь нормальный авторъ долженъ съ утра волноваться, нормальный авторъ долженъ всѣмъ говорить: «Посмотрите, какія у меня холодныя руки». А я развела какое то звѣздное небытіе и, когда публика меня вызываетъ, съ любопытствомъ спрашиваю: «гдѣ авторъ?»

А вѣдь гонораръ то придется мнѣ выдавать, какъ путной!

— Идите же! — кидается ко мнѣ режиссеръ.

Я наскоро устраиваю безпечную улыбку, ловлю протянутыя ко мнѣ руки актеровъ и выхожу кланяться.

Послѣдній мой поклонъ русской публикѣ на русской землѣ.

Прощай мой послѣдній поклонъ...

31.

Лѣто въ Екатеринодарѣ.

Жара, пыль. Черезъ мутную завѣсу этой пыли, сумбура и прошедшихъ годовъ, туманно всплываютъ облики...

Профессоръ Новгородцевъ, голубые, такіе славянскіе глаза Мякотина, густая шевелюра сентиментальнаго Ф. Волькенштейна, разсѣянный и напряженный взглядъ мистика Успенскаго... И еще другіе, о которыхъ уже молились, какъ о «рабахъ Божіихъ, убіенныхъ»...

Среди петербургскихъ знакомыхъ молодой кавалерійскій офицеръ, князь Я. Веселый, возбужденный, — лихорадящій отъ прострѣленной руки.

— Солдаты меня обожаютъ, — разсказывалъ онъ. Я съ ними обращаться умѣю. Бью въ морду, какъ въ бубенъ.

Думаю, все-таки, что любили его не за это, а за безшабашную удаль и особое веселое молодечество. Разсказывали, какъ онъ въ офицерскихъ погонахъ на плечахъ, съ громкимъ свистомъ проскакалъ по деревнѣ, занятой большевиками.

— Почему же они въ васъ не стрѣляли?

— Очень ужъ обалдѣли. Глазамъ своимъ не вѣрили: бѣлый офицеръ и вдругъ по деревнѣ ѣдетъ. Выскочили, глаза выпучили. Ужасно смѣшно!

О дальнѣйшей судьбѣ этого самаго князя Я.

разсказываютъ очень удивительную исторію. Въ одномъ изъ южныхъ городовъ онъ, въ концѣ концовъ, попался врагу въ лапы. Былъ судимъ и приговоренъ къ каторгѣ. Никакой опредѣленной каторги въ тѣ времена у большевиковъ не было и посадили князя просто въ тюрьму. Но вотъ понадобился властямъ для ихъ собственнаго обихода прокуроръ, а городокъ былъ маленькій, люди образованные разбѣжались, либо попрятались, а про князя знали, что онъ кончилъ юридическій факультетъ. Подумали и надумали: приказали ему быть прокуроромъ. Приводили подъ конвоемъ въ судъ, гдѣ онъ обвинялъ и судилъ, а ночевать отводили снова на каторгу. Многіе, говорятъ, ему завидовали Не у всѣхъ были обезпеченные столъ и квартира...

Екатеринодаръ, Ростовъ, Кисловодскъ, Новороссійскъ...

Екатеринодаръ — высокочиновный. И во всѣхъ учрежденіяхъ живописный беретъ и плащъ и кудри Макса Волошина. Онъ декламируетъ стихи о Россіи и хлопочетъ за невинно осужденныхъ.

Ростовъ — торговый, спекулянтскій. Въ ресторанномъ саду пьяные, истерическіе кутежи съ самоубійствами...

Новороссійскъ — пестрый, присѣвшій передъ прыжкомъ въ Европу. Молодые люди съ нарядными дамами катаются на англійскихъ автомобиляхъ и купаются въ морѣ.

— Novorossisk - les - Bains.

Кисловодскъ встрѣчаетъ подходящіе поѣзда идиллической картиной: зеленые холмы, мирно пасущіяся стада и на фонѣ алаго вечерняго неба тонковычерченная черная качель съ обрывкомъ веревки.

Это — висѣлица.

Помню, какъ пригнула мою душу эта невидная картина. Помню, какъ рано-рано утромъ вышла я изъ отеля и пошла за городъ къ этимъ зеленымъ холмамъ, искала злую гору.

Взошла по утоптанной крутой тропинкѣ, поднялась «туда». Она вблизи была не черная, эта качель. Она сѣрая, какъ всякое старое некрашеное простое дерево.

Я встала въ середину подъ прочную ея перекладину.

Что видѣли «они» въ послѣднюю свою минуту? Вѣшаютъ большею частью раннимъ утромъ. Значитъ, вотъ съ этой самой стороны видѣли они свое послѣднее солнце. И эту линію горъ и холмовъ.

Пониже, слѣва, уже начинался утренній базаръ. Пестрыя бабы выкладывали изъ телѣгъ на солому глиняную посуду и солнце мокро блестѣло на поливѣ кувшиновъ и мисокъ. И «тогда» навѣрное также бывалъ этотъ базаръ. А съ другой стороны подальше среди холмовъ, пригнали пастухи гурты барановъ. Бараны плотными волнами (какъ кудри Суламифи) медленно скатываются по зеленому склону, и пастухи, въ мѣховыхъ шкурахъ, стоятъ опираясь на библейскій длинный посохъ... Какая благословенная тишина! И такая же тишина была и «тогда».

Дѣло совершенно бунчное и простое. Нѣсколько человѣкъ приводили одного. Ставили туда, гдѣ стою я. Можетъ быть, одинъ изъ пастуховъ закрывъ глаза щиткомъ-ладонью, отъ солнца, взглянулъ, что тамъ за люди копошатся на холмѣ...

Здѣсь была повѣшена знаменитая анархистка Гэ. Красивая, молодая, смѣлая, веселая, нарядная пріятельница Мамонта Дальскаго. Многіе изъ моихъ друзей кутили въ лихорадочное время въ

этой занятной анархистской компаніи. И всѣ эти анархисты казались намъ ряженными хвастунами. Никто не относился къ нимъ серьезно. Слишкомъ долго и хорошо знали живописную душу Мамонта, чтобы повѣрить въ искренность его политическихъ убѣжденій. Болтовня, поза, гримм трагическаго злодѣя, костюмъ на прокатъ. Интересно и безотвѣтственно. Всю жизнь игралъ Мамонтъ на сценѣ «Кина», въ жизни — въ Кина, въ генія и безпутство. А умеръ — какъ подшутила судьба! — отъ благороднаго жеста. Стоя на подножкѣ трамвая, посторонился, чтобы уступить мѣсто дамѣ. Сорвался и попалъ подъ колеса. А нѣсколько мѣсяцевъ спустя, пріятельница его, нарядная и веселая Ге, стояла вотъ здѣсь, смотрѣла, прищуривъ глаза, на свое послѣднее солнце и докуривала послѣднюю свою папироску. Потомъ отшвырнула окурокъ и спокойно набросила себѣ на шею тугую веревочную петлю.

Играло солнце на глянцѣ глиняной посуды внизу на базарѣ. Копошились у телѣгъ пестрыя бабы. А дальше по крутымъ зеленымъ холмамъ, медленно сползали стада и шли пастухи, опираясь на посохъ. И навѣрное что-то тихо звенѣло вдали, какъ всегда звенитъ въ горной тишинѣ. И тишина была благословенна...

Какъ часто упрекаютъ писателя, что конецъ романа вышелъ у него скомканъ, и какъ бы оборванъ.

Теперь я уже знаю, что писатель невольно творитъ по образу и подобію судьбы, Рока. Всѣ концы всегда спѣшны, и сжаты, и оборваны.

Когда умеръ человѣкъ, всѣмъ кажется, что онъ еще очень многое могъ сдѣлать.

Когда умерла полоса жизни — кажется, что она могла бы еще какъ то развернуться, тянуться,

и что конецъ ея неестественно сжатъ и оборванъ. Всѣ событія, заканчивающія такую полосу жизни, сбиваются, спутываются безтолково и неопредѣленно.

Жизнь пишетъ свои произведенія по формулѣ старинныхъ романовъ. Съ эпилогомъ: «Ирина вышла замужъ и, говорятъ, счастлива. Сергѣй Николаевичъ нашелъ забвеніе въ общественной дѣятельности»...

Все быстро, торопливо и все ненужно.

Такъ же быстро торопливо и непитересно пробѣжали послѣдніе новороссійскіе дни передъ неожиданно надуманнымъ отъѣздомъ.

- Сейчасъ вернуться въ Петербургъ трудно, поѣзжайте пока заграницу, — посовѣтовали мнѣ.
- Къ веснѣ вернетесь на родину.

Чудесное слово — весна. Чудесное слово — родина...

Веспа воскресеніе жизни. Весной вернусь.

Послѣдніе часы на набережной у парохода «Великій Князь Александръ Михайловичъ».

Суетня, хлопоты и шопотъ. Этотъ удивительный шопотъ, съ оглядкой, исподтишка, провожавшій всѣ наши пріѣзды и отъѣзды, пока мы катились внизъ по картѣ, по огромной зеленой картѣ, на которой наискось было напечатано «Россійская Имперія».

Да, шепчутъ, оглядываются. Все то имъ страшно, все страшно, и не успокоиться, не опомниться до конца дней, аминь.

Дрожитъ пароходъ, бьетъ винтомъ бѣлую пѣну, стелетъ по берегу черный дымъ.

И тихо, тихо отходитъ земля.

Не надо смотрѣть на нее. Надо смотрѣть впередъ, въ синій широкій свободный просторъ...

Но голова сама поворачивается и широко раскрываются глаза и смотрятъ, смотрятъ...

И всѣ молчатъ. Только съ нижней палубы доносится женскій плачъ, упорный, долгій, съ причитаніями.

Когда это слышала я такой плачъ? Да, помню. Въ первый годъ войны. Ѣхала вдоль улицы на извозчикѣ сѣдая старуха. Шляпа сбилась на затылокъ, обтянулись желтыя щеки, беззубый, черный ротъ, открытъ, кричитъ безслезнымъ плачемъ — «а-а-а!» А извозчикъ — вѣрно смущенъ что везетъ такого сѣдока «безобразнаго», — понукаетъ, хлещетъ лошаденку...

Да, голубчикъ, не разглядѣлъ, видно, кого садишь? Теперь вези. Страшный черный безслезный плачъ. Послѣдній. По всей Россіи, по всей Россіи... Вези!...

Дрожитъ пароходъ, стелетъ черный дымъ.

Глазами широко, до холода въ нихъ, раскрытыми смотрю. И не отойду. Нарушила свой запретъ и оглянулась. И вотъ какъ жена Лота, застыла, остолбенѣла навѣки и вѣки видѣть буду, какъ тихо, тихо уходитъ отъ меня моя земля.

Конецъ.

ИЗДАНІЯ „ВОЗРОЖДЕНІЯ“

	франки
Амфитеатровъ. Знакомыя музы	15
Головинъ. Суворовъ и его наука побѣждать	15
Гурко. Царь и Царица	15
Зайцевъ. Странное путешествіе	15
Дѣло Бориса Коверды	10
Корчемный. Человѣкъ съ гераніемъ, романъ	15
Крачковскій. Избранные разсказы	15
Купринъ. Храбрые бѣглецы	15
Лукашъ. Дворцовые гренадеры	15
Его же. Пожаръ Москвы, романъ	25
Мережковскій. Мессія, романъ въ 2 томахъ	30
Муратовъ. Герои и героини	15
Его же. Магическіе разсказы	15
Новиковъ. Фашизмъ	8
Половцовъ. Дни затменія	15
Поповъ. Храмъ Славы, 2 т. т. по	25
Рощинъ. Горнее солнце	15
Суворинъ. Фазанъ	15
Сургучевъ. Эмигрантскіе разсказы	15
Ходасевичъ. Собраніе стиховъ	15
Чириковъ. Мой романъ (распр.)	25
Его же. Дѣвичьи слезы	15
Его же. Между небомъ и землей	15
Шмелевъ. Солнце мертвыхъ (распр.)	15
Его же. Мэри	15
Его же. Человѣкъ изъ ресторана, романъ	15
Его же. Исторія любовная, романъ	25
Его же. Степное чудо	8
Яблоновскій. Дѣти улицы	15

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

„ВОЗРОЖДЕНІЕ“

ÉDITIONS ET LIBRAIRIE

LA RENAISSANCE

(Vozrojdenie)

2, Rue de Sèze, 2—Paris (IX)

Tél. Richelieu 94-98, 94-99.

Цѣна 20 фр.